

А. Никурин
Записки
Спутника

ЛЛ

Л. Н. К у л и н

записки спутника

И з д а т е л ь с т в о П и с а т е л е й в Л е н и н г р а д е

№ 218

*Отпечатано для Издательства Писателей
в Ленинграде в количестве 7300 экз. 8 л.
20-й типографией ОГИЗ'а им. Евг. Соколовой,
Линг., пр. Кр. Команд., 29. Заказ № 1473.
Ленинградский Областлит № 21608.
Обложка художника М. Кирнарского. Сдано
в набор 13/X 1931 г. Подписано к печати
9/XII 1931 г. Формат 72 × 105. Типогр.
знаков 67392. Ответственный редактор
М. Козаков. Технич. редактор Г. Сорокин
1932*

1. МОСКВА

...Идут часы походкою столетий...

А. Блок

Это записи главным образом о людях нашей эпохи, покинувших нас, но живых в нашей памяти. Может быть, их следовало назвать Некрополь — город мертвых. Но наш Некрополь — не город печали, а город славы, человеческой гордости и любви к людям, умершим за социализм. Некоторые события отстоят от нас больше, чем на десятилетие. Отдаленные планы, как известно, теряют рельефность и отчетливость. Поэтому автор не претендует на особую точность дат, географических названий, а иногда и имен. Скорее всего это будет повесть, неоконченная повесть, из тех биографических повестей, которые пишутся всей жизнью и кончаются вместе с ней. Наше поколение помнит 1905 год, оно вышло на линию огня в 1917, и год от году несет жестокие потери. Это закон жизни. Ко второй половине нашего века это поколение почти перестанет существовать. Обязанность и долг современника, если ему посчастливилось увидеть вплотную эту неповторимую в истории народов эпоху, объективно и честно рассказать о ней новому поколению. Я думаю, что поступаю правильно, если начну именем Ларисы Михайловны Рейснер. Из года в год поэтизируется интерес современников к литературному наследию и образу писателя и человека, пять лет тому назад покинувшего нашу эпоху. Этот интерес существует и ощущается нами несмотря на то, что наши издания почти не отметили пятилетия со дня смерти Ларисы Рейснер, и в этом отношении нам дали урок немецкие товарищи. Мне не хотелось бы вторить и приумножать общепринятую по отношению к мертвым лесть. Не много

стоит человек, которого все одинаково любят, одинаково признают. Не много стоят счастливы и общие любимчики. Лариса Рейснер входила в жизнь как настороженный беспощадный боец, сегодня — верный и преданный товарищ, завтра, может быть, ослепленный ненавистью враг. В этом была искренность, значительность и очарование этого сложного характера. Такие люди живут коротко, бурно и страстно. Есть люди, неуклонно убавляющие среднюю продолжительность жизни для данной страны. Лермонтов умер двадцати семи лет. В двадцать семь лет он сделал все, что повергло в изумление исследователей литературы и поставило в тупик авторов одиннадцати повестей о его жизни. Шелли умер двадцати четырех лет. В данном случае речь идет о писателе умершем, едва достигнув тридцати лет. Пять лет отделяет нас от конца жизни Ларисы Рейснер. В эти пять лет мы прожили десятилетия. Мы увидели лицо новой страны и эпохи. Но за рубежами все еще маневрируют вражеские армии. Весенний туман в лесах Полесья кажется всплывающим облаком газа. Пассажирский самолет напоминает о вражеском бомбардировщике. Когда наш современник надевает шинель и подпоясывается ремнем — десятилетие отступает назад, и люди Октября и гражданской войны — с нами и в наших рядах. Кто же из помнящих Волгу и Каспий и Балтику может забыть Ларису Михайловну Рейснер? В библиотеке современников ее книги не занимают много места на полке. Это не баррикада томов классика или полуклассика. Но эти три-четыре тома нельзя перелистать как ювелирную словесность Цвейга или Моруа. Страницы книги «Фронт» до сих пор жгут руки врага и зажигают мужеством сердце друга. И в поисках героя биографического романа писатель неизменно будет обращаться к удивительной жизни Ларисы Рейснер.

Как сложился этот странный и сложный характер? В годы ее юности прозорливые люди откладывали революцию на двадцать-тридцать лет. Когда поэты славили величие и византийское вероломство царизма, у Ларисы Ми-

хайловны было все для счастливой «личной» жизни. Ее юность могла тихо протекать в лирических садах «Аполлона», в садах российской словесности, в обществе «мэтров» акмеизма, в кругу стареющих символистов. Теплицы литературных подвальчиков, салоны петербургских меценатов, любителей фарфора и поэзии, премьеры балета, симфонические концерты и вернисажи убаюкивали и усыпляли ее поколение. Однако поэзо-концертам и вернисажам она предпочла возню с типографскими гранками, хлопоты в цензурном комитете и контрагентстве печати. Все это делалось для того, чтобы нерегулярно и неожиданно выходили в свет тощие тетрадки довольно острого журнала «Рудин». Лариса Рейнер, конечно, писала стихи. Она не любила вспоминать об этих стихах, когда стала прозаиком. Но даже в ранней поэтической юности она не умела ни жеманничать, ни притворяться как притворялись значительными акмеисты. Она пробовала переложить в стихи основы биологии. Получалось громоздко, но интересно. На письменном столе у юной красивой деушки рядом с томиками стихов Ахматовой лежали внушительные томы Гегеля, Энгельса и Маркса. Кажется, к этому времени относится портрет Ларисы Михайловны, написанный Шухаевым. Она не любила этот плохо и претенциозно написанный портрет, и особая горечь заключалась в том, что мы увидели его в траурную ночь в Доме Печати. И там портрет выглядел лживым как всегда — тяжеловесная и неумная лесть художника. Миниатюра Чехонина тоже суха и манерна. Даже фотография не оставила нам прелести этой насмешливой улыбки, внезапно вспыхивающего пламени в глазах и боевого задора в повороте головы. Все это ушло. Уйдет поколение знавших и видевших живую Рейснер и останутся лживые портреты и бледные фотографии и, конечно, ее книги. Как странно смотреть на тусклый псевдорафаэлевский фон портрета Шухаева и на акварельные Неву и Васильевский остров миниатюры Чехонина. Если подумать об аксессуарах и фоне идеального портрета, надо вспомнить о вещах, которые ее окружали: о книгах, жел-

том ящике полевого телефона, маленьком никелированном браунинге. А фон? Палуба «Межени» или палуба истребителя «Либкнехт», дорога из Кабула в Кала-и-фату и конь «Ахмет», лучший в Кабуле. Но фон и аксессуары, может быть, остались, а ее нет и не будет идеального портрета.

Я увидел впервые Ларису Рейснер в 1914 году в Москве. До этой встречи из Петрограда пришло письмо. На бланке журнала «Рудин» прямым и разборчивым почерком Лариса Михайловна писала о том, что приезжает в Москву на несколько дней и просит позвонить ей в гостиницу или зайти и поговорить о журнале. Это было второе письмо. Первое письмо пришло годом раньше, и оно тоже касалось редакционных дел одного журнала, издававшегося студенческим кружком психо-неврологического института. Деловой, товарищеский тон писем поразил меня; тайной его до конца дней владела Лариса Михайловна. Я не представлял себе автора писем, но все же так не могла писать литературная дама и дилетантка. Я не совсем понимал, что это за журнал, названный фамилией тургеневского героя. Журнал был не слишком хорош, но и не плох: в нем были живость, острота, некоторая семейственность или, вернее, кружковщина. Надо помнить, что в то время шовинистический бред и бравада уже просачивались в каждом бумажном клочке. Но не потому остался в памяти нашего поколения этот журнал, что в нем явственно звучали пораженческие ноты и некоторая литературная независимость, а только потому, что он был связан с биографией писателя Ларисы Рейснер. Когда я позвонил по телефону в гостиницу, мне ответил звонкий девический голос и назначил время — десять часов утра. Это было поделовому и ничуть не похоже на дилетанствующую литературную даму. Но дальше предстоял удивительный контраст, который вначале просто лишил меня речи. Старая купеческая гостиница с длинными темными коридорами и душным сладковатым запахом в skleпообразных номерах. Исцарапанные алмазом зеркала, вишнево-красные драпировки, пузатые купеческие кресла и тусклый самовар

на столе, филипповский калач и над всем этим тирольский пейзаж в капитальной раме. Среди убогого и пыльного старого хлама я увидел очень молодую и очень красивую девушку в темном платье, с косами, аккуратно уложенными вокруг лба. Я плохо помню, о чем мы гозорили, но у меня осталось воспоминание о неуважении к авторитетам, независимости мысли, резкости суждений; все это не гармонировало с юностью и прозрачной хрустальностью взгляда этой девушки. Но самым удивительным в ней был радостный, счастливый и музыкальный смех, неповторимый и единственный, который я слышал в жизни. То, что я увидел в течение ее делового дня, напоминало американский фильм или традиционный английский роман: прекрасная, юная девушка, укрощающая и перерождающая суровых нелюдимов. Это было в суворинском контрагентстве печати. Контрагентство было монополистом по распространению печатных изданий на железных дорогах. Доверенные Суворина были суровые и каменные люди. Что была для них судьба толстых пачек порыжевшего на солнце журнала с лаконическим штампом «возврат» на обложке? Против всех правил Ларисе Михайловне заплатили в тот же день, и бесчувственный читатель был порадован еще одним и последним номером журнала с силуэтом тургеневского героя на обложке.

После такого делового дня имело некоторый смысл смотреть дрессированных попугаев в цирке на Цветном. Там пышная дама в декольтированном бисерном платье снимала с жердочек дрессированных попугаев. Она располагала их живописными группами, она заставляла их раскачиваться на игрушечных качелях. Попугаи пронзительно кричали, но делали все, что от них требовалось. «Уверю вас, это наши поэты. Белый какаду с хохолком это... а зеленый... (Лариса Михайловна называла имена)... А толстая дама... допустим, критика. Она не любит, когда птички без позволения меняют жердочки и слишком громко кричат и хлопают крылышками. У каждого должна быть своя жердочка. Да». Немного позже,

когда мы встретились в Петрограде, дрессировщики попугаев были встревожены затянувшейся войной, а попугаи нестерпимо орали невпопад. А через год мы присутствовали при агонии толстой дамы, попугаи молчали или слабо хрипели и пробовали улететь на юг.

Еще меня удивила квартира на Большой Зелениной. Узкий коридор, заставленный книжными шкапами. Скромная, не для удобной жизни, профессорская квартира, отдаленно напоминающая уплотненную квартиру нашего времени. Постепенно все потухает в человеческой памяти. Отдаленные планы тускнеют и выключаются, как дальние планы театральных декораций, спектакль идет к концу. Так исчезли из памяти вещи и комнаты, и время, и даже Большая Зеленина улица, и дом, где прошло детство Ларисы Михайловны. Большая Зеленина, о которой она всегда говорила с нежностью, народный сад «Симпатия» и переулок, выходящий на Карповку и Большой проспект, — все это впрочем имело значение для ее прежних и новых друзей, пока здесь жила и пока вообще жила женщина, писатель с замечательной биографией и книгами.

Весна восемнадцатого года. Лоскутная гостиница называется «Красный флот». Гостиница степенного провинциального купечества стала общежитием военных моряков, штабом формирующихся отрядов, военным лагерем; и как и во всем, совершающемся у нас на глазах, в этом был законный исторический смысл. Млечные пути трещин, звездное сияние покрывало тусклые зеркала, недавно отражавшие коммерции советников и купцов первой гильдии. Пулемет темнозеленой лягушкой уставился во входную дверь. В комнате Ларисы Михайловны — походный штаб. Вишневый бархат драпировок сразу пошел на самодельные знамена. Тирольский пейзаж меланхолически повис над столом для купеческих чаепитий. Здесь было много разнообразных вещей — телефонные аппараты, полевые бинокли, пишущая машинка, печати, мандаты, пропуска, удостоверения, недописанная статья о «Скифах» Блока и

пачка трагических телеграмм из Новороссийска. Ф. Ф. Раскольников читал их как стихи. Его путь лежал в Новороссийск, где надо было топить Черноморский флот, чтобы он не достался немцам. Немцы собирались отхватить половину страны. Развертывался неописуемо прекрасный и страшный восемнадцатый год. Восемнадцатый год пламенел и обжигал в словах Ларисы Михайловны. Она говорила, как зрелый революционер и боец: «Левые эсеры — кокетки. Саботажники — сволочь, путаются в ногах... Познакоимтесь, это — товарищ Железняков. Он разогнал учредилку. Вошел и прямо сказал: «караул устал». В памяти возникает рослый черноволосый малый, его рукопожатие, сильные, негибающиеся пальцы и морской кольт на лакированном поясе. Он возникает и исчезает, этот черноволосый парень, однажды появившийся на авансцене истории. Он во-время сказал свою реплику на первом плане исторической комедии. Сказал и слился с тысячами таких же, как он, и умер на фронте, с морским кольтом в руках. В коридорах шаги, как глухие выстрелы, гулкие голоса и окрики, постоянный, неугомонный шум военного лагеря. В мелодическом голосе Ларисы Михайловны, в голосе, который неповторимо передавал стихи Райнера, Мариа Рильке, теперь звучит медь. Этот голос не заглушают ни грохот шагов, ни едкие соленые слова матросской перепбранки. Однажды в белый летний вечер она сказала: «Мы расстреляли Щастного». «Мы» она сказала твердо и несколько вызывающе. Так говорили в то время немногие революционеры-интеллигенты. Сейчас мне казалось, что два-три года назад этот голос звучал несколько неуверенно, звучал в пустоте и что настоящий, неизменный металлический тембр голос Ларисы Рейснер обрел только теперь: в революцию и в революционной стихии.

Лето. Черноморский флот лежит на дне Черного моря, однако в Киеве, в гостинице «Франсуа», действует, сохраняет штаты, отдает в приказах назначения и перемещения морское министерство гетмана Скоропадского. В Москве, на Воздвиженке, в бывшем особняке Ассадулаева нахо-

дится морком — комиссариат по морским делам. Продолговатый зал для балов и приемов превратили в зал заседаний. Кажется, оттуда еще не успели убрать сияющий белый рояль, и стулья стояли вдоль стен, как полагалось в танцевальных залах. Под окнами—приближающийся и удаляющийся шум моторов. В арбатских переулках и на Смоленском перекликаются одинокие ружейные выстрелы. В подъезде, на мраморных ступенях, сидит, вытянув ноги, караульный матрос. Винтовка лежит у него на коленях, бескозырка сдвинута на лоб, и он насвистывает «Варяга» (революция еще не придумала своих песен). Плоские кружки лент прямого провода лежат на хрупком красного дерева столике. Скупой, предельно сокращенный язык морского кода говорит о вышедших в море и атакованных английскими подлодками эсминцах, о подорвавшемся на mine тральщике. Танцевальный зал Шамси Ассадулаева уже не имеет больше невинного, идиллического вида. Это — не отель «Франсуа», не державное министерство несуществующего флота. Это — морской штаб революции. Раскольников возвращается из Кремля и рассказывает: «Чехо-словаки начали военные действия». Не зажигая света, он наизусть читает приказ о воззвании Совета народных комиссаров. В пустом зале, ударяясь в потолок и стены, звучит молодой, почти юношеский голос: «Белогвардейцы... чехо-словаки... степной полковник Иванов...» В открытую балконную дверь свирепым аккомпаниментом врываются сирена грузовика и суматошная стрельба на Смоленском. И с балкона на Воздвиженке обращенная в сумеречное небо Троицкая кремлевская башня кажется острием копья.

Весна и лето восемнадцатого года в Москве. Можно ли пройти мимо этой эпохи? Революция обуздывает хаос, она заставляет враждебные стихии служить революции. Левые эсеры входят в рабоче-крестьянское правительство; меньшевики вчера еще были членами ЦИК, а Малая Дмитровка — кварталом анархистов. Под черным знаменем превосходно работали ресторан и главным образом винный

погреб бывшего купеческого клуба. Матр-д'отель ресторана на вопрос, где работает, внушительно и с достоинством отвечал: «У анархистов». В особняках Малой Дмитровки и на Поварской находились боевые штабы анархистских групп и группочек. В общем фантазмагория, неразличимая для здравого рассудка и острого глаза амальгама парадоксальных идей, политических парадоксов, софизмов, проповедуемых философами, истериками, уголовниками и наркоманами. Политические клубы и склады оружия, шампанского, динамита, кокаина и экспроприированных драгоценностей. Партизанские анархистские отряды — «палачи буржуазии», «черные динамитчики», «бомбисты смерти» — впрочем нисколько не торопились на калединский фронт. На столиках кафе поэтов в Настасьинском они раскладывали бомбы и маузеры и аплодировали Бурлюку и Каменскому. И вожак у них был «Гвидо», красивый и наглый парень. Открыто и непринужденно они обсуждали план налета на клуб у Красных ворот. Они покровительствовали искусствам, они устраивали концерты в захваченных особняках и расплачивались с артистами пачками «думок», лентами «керенок» и корзинами с шампанским. Всех их в одну ночь уничтожила ВЧК, отделив философствующих интеллигентов от уголовных преступников. И тогда только поняли смысл краткого лаконического объявления об образовании Всероссийской чрезвычайной комиссии по борьбе с контрреволюцией и саботажем. Сначала объявление затерялось на стенах и заборах, сплошь заклеенных афишами, воззваниями и декларациями. Ночью на Трубной площади и Цветном шли регулярные бои между милицией и уголовными, длительные ночные бои с перебежками, гранатными атаками и расстрелами пленных. «Черные динамитчики» и «бомбисты смерти» облагали данью игорные притоны и клубы. Белогвардейские организации проводили правильные мобилизации и отправляли на Дон офицеров и юнкеров. Посольства и консульства Франции и Англии организовывали заговоры и заговорщиков. Можно ли было предположить, что краткое объявление о начале работы ВЧК есть

переход революции в наступление? Это поняли немногие дальновидные современники, когда отправлялись на рабочие окраины. Они видели молодых и старых рабочих, обучавшихся стрельбе из пулемета, они видели более или менее обученные отряды красногвардейцев, зерно, из которого выросли первые революционные армии. В поэтическом кафе на Настасьинском сидели бойцы 1-го советского полка. На рассвете их эшелон уходил на донской фронт. Маяковский читал «Революцию», мужественно защищая эстраду от сюсюкающих поэтических мальчиков и заgrimированных поэтесс. В «Доме свободного искусства», который поместился в бывшем ресторане Эрмитаж, на эстраде почему-то танцевали испанские пляски. Но сюда ходили не для испанских танцев, а ради споров и настоящего чая и варенья. Люди говорили о своем, не слушая сентиментальных певцов из театра миниатюр. Однажды пришли Лариса Рейснер, Флеровский и еще кто-то из балтийцев. Все вместе иронизировали над «Домом свободного искусства». «Они собрали в отдельных кабинетах поваров и судомоек и читают им лекции об Эврипиде. Отдельные кабинеты-аудитории. Замечательно! Спрашивают поваров: «зачем ходите? Небось скучно?» А повара отвечают: «Егор Иванович приказал. Нельзя — хозяин». Лариса Михайловна хохочет: «Дом свободного искусства»? Спасают ресторан, правда? Их надо закрыть». В общем все, о чем говорили, было невероятным контрастом эротическим песенкам кабаре-певцов и болтовни беспогонных офицеров и их дам. С калединского фронта приехал командующий красногвардейским отрядом Юрий Саблин. Для краткости его называли командарм. Он рассказывал о героической смерти красного партизана, казачьего хорунжего Подтелкова, повешенного белогвардейцами. На эстраде кумир земгусаров и тылового офицерства Вертинский пел панихидную песнь по юнкерам, погибшим в октябрьские дни. Можно было прекратить панихиду, но было не до того. Раненый командарм проходил по залу, опираясь на палку. Господа и дамы смотрели на него с насмешливым любопытством. Командарм думал:

«Обреченные». То же вероятно они думали о нем. В самые неопределенные часы приходил работник ВЧК Георгий Лафар. Он писал стихи о Египте и мумиях, белые стихи, похожие на прозу Теофиля Готье. Вместе с тем он вылавливал иностранных шпионов и подрывников. По происхождению он был обрусевший француз, и в 1919 году его расстреляли в Одессе интервенты, его соотечественники. Впрочем отечеством его была Советская страна, и он умер за нее. Повидимому, его вывел Алексей Толстой в «Ибикусе». Это был суровый и пламенный якобинец, якобинец в охотничьих сапогах и бархатной блузе, пришедший через сто двадцать восемь лет в Москву восемнадцатого года. Я читал о нем большую статью в «Матен», ее написал уцелевший лазутчик, убежавший из Москвы разведчик. Он писал, что Лафар ходил на Сен-Жюста. У него были вьющиеся льняные волосы и прозрачные желто-золотые глаза. Его любили товарищи по ночным спорам о революции, о поэзии и смерти.

Надо попытаться коротко рассказать о том положении, в котором находились в то время некоторые мои сверстники. Мы видели и помнили пятый год. Мы бегали на массовки, совали прокламации в карманы солдатских шинелей и клеили на заборах листовки. В четырнадцать лет мы изучали политграмоту по брошюрам «Молота» и «Буревестника». Мы дискуссировали, спорили о программах большевиков и меньшевиков, и эсеров, и анархистов. В четырнадцать лет наше развитие шло, конечно, не теми путями, какими оно идет теперь у учеников советской школы-семилетки. От брошюр «Буревестника», от массовок и стрельбы в цель из «бульдогов» и «велодогов» был прямой путь к «волчьему билету», обыску и аресту. Всем этим гимназическим испытаниям предшествовало отеческое внушение уездного жандармского ротмистра по фамилии фон-Канабих. И почти всегда этот разговор определял наш дальнейший путь. Иногда мой сверстник так и не возвращался в среднюю школу и отправлялся в жизнь с «волчьим билетом» неблагонадежного и далее проходил суровую школу ссылки,

подполья и эмиграции, школу профессионального революционера. А иногда его убрали из этого города и отдавали в другое училище и обезоруживали, и разлагали родительскими увещеваниями и слезами родных. Нельзя сказать, что наш возраст не доставлял больших хлопот ротмистру фон Канабих. Он знал из газет и тайных сводок о романтической карьере атамана экспроприаторов, вождя террористов гимназиста Савицкого. Но чаще всего мечты о дерзких налетах на казачество и усадьбы приводили моего сверстника к лубочным книжечкам Пинкертона, к тысячам соблазнов первой любви и отсюда прямо в эротическое и мистическое болото реакции 1907—1909 годов. Мой сверстник тонул в беспредметной символике Метерлинка, в мистических кошмарах Леонида Андреева, в беспредметно-либеральной сатире сатириконцев. Теперь уже забыли об этой эпохе, но мы вынесли ее на своих плечах, и яд этого времени долго бродил в нашей крови. Начало войны пробудило в нас чувства и страсти пятого года. Мы начали почти бессознательным поражением, продолжали сознательным уклонением от воинской повинности и из чувства политической чистоплотности не принимали участия в шовинистической браваде тех дней. К концу войны многие впали в открытый пацифизм в прозе и стихах. И автор «Записок спутника» отдал ему дань слабыми по форме стихами, когда писал, что для войны есть только два слова:

... два жестких слова.

Это:

Кровь и грязь.

От этого, разумеется, очень далеко до открытого противодействия войне и похабному режиму, и в этом почти платоническом сочувствии революционерам была наша главная вина. Революцию мы встретили как возвратившуюся юность, как второе отрочество. Но мы успели охладить революционный задор ранней юности, но мы были обременены фетишами — «всеобщим и равным», «прямым и тайным».

Мы говорили: «свобода совести», не понимая, что собственно следует называть совестью и свободой. Мы могли спорить до хрипа о «национализации» и «социализации» земли в те годы, когда князь Любомирский владел лесами и водами, уездом и городом, землей, по которой мы ходили. Но когда надо было выбирать между социализацией и национализацией, мы опять утопали в академических спорах. К лету восемнадцатого года мы уже окончательно расстались с «всеобщим и равным», с «демократией» и фетишами, но все же терялись в размышлениях и колебаниях. Странные вещи творились вокруг. За Серпуховскими воротами, в пятнадцати минутах от Коммерческого института, был завод Михельсона. И теперь мы другими глазами смотрели на фабричные корпуса, рабочие казармы и потемневшие от дождей деревянные флигеля у заставы. В пятнадцатом году умирал в петроградской больнице старый политический эмигрант, участник демонстрации у Казанского собора М. Л. Шефтель. Он лежал в палате, рассчитанной на шестьдесят человек. Вокруг на больничных койках боролись с болезнью и смертью мастеровые — питерские рабочие, трудовой народ. Умиравший смотрел поверх меня пронизательным, опережающим время и проникающим в пространство взглядом. Два месяца он лежал среди этих людей и слушал их и говорил с ними и однажды сказал мне: «Революция очень близка, настоящая и большая, невиданная в мире революция. Это не те рабочие, которых мы знали тридцать и двадцать, и пять лет назад. Многие могут оказаться в дураках». Многие и оказались в дураках. На адвокатских чаях, на литературных «средах» и «четвергах», перелистывая томы Карлейля, на пальцах высчитывали дату конца революции. Но для рабочих все было ясно — начала и конца мировой войны, начала и конца войны гражданской, и здесь могли говорить только большевики. У нас на глазах происходила явная дифференция сил. В доме моего родственника, старого социал-демократа объединенца, я иногда встречал Владимира Максимовича Фриче. Они были старые знакомые и даже друзья, но теперь они спо-

рили как смертельные враги. Однажды на литературном четверге в Художественном кружке Илья Эренбург читал «Молитву о России» — реакционные, контрреволюционные стихи (потом он от них отрекся). Мы не слишком смело атаковали его и все же увидели против себя глухую стену, нескрываемую, злую вражду. Что нас связывало с прошлым, и, в общем, что было в нашем прошлом? Хроническая нужда, иногда голод (его впрочем легко было переносить в молодости), эффектные бумажные бури, бои у театральной рампы, споры с футуристами. Им было легко нападать и отражать удары: они были в общем правы, хотя бы потому, что взрывали старую форму и метко стреляли по реакции. Нужно было что-то делать и решать. Память о пятом годе указывала нам прямой путь к революции. Но старые марксисты, «подлинные социалисты», клеили нам ярлычки: «авантюристы», «неучи», а наследники народовольцев, левые эсеры, нажимали еще неослабевшие пружины чистого идеализма народолюбства, народничества.

Все это, конечно, очень сжато уместилось на двух-трех страницах моей рукописи, по существу — это тема для новой истории моего современника. И однако все это уложилось в пределы одного ночного разговора на Никитском бульваре летом 1918 года в Москве.

Летняя, сомнительно белая ночь, прибитая теплым дождем пыль и внезапно ожившая листва бульваров. Пустынные улицы, мертвые дома. Деревянные щиты с вырезанными квадратными щелями закрывают двери подъездов. Вооруженные или на первый взгляд безоружные прохожие в гимнастерках. Сплошной защитный цвет, но что под защитной гимнастеркой — татуировка бандита или крестик и ладонка драгунского ротмистра? Уже реже стреляют по ночам, и реже носятся грузовики с красногвардейцами. Милиционеры (палец на взводе нагана) ведут арестованных, и нельзя знать, доведут ли живыми до уголовного розыска в Гнездиновском. О чем могли говорить люди в такую ночь? О будущем? Но кто знает это будущее? Будущее — шальная пуля в Арбатском переулке или оско-

лок гранаты на донском фронте. И мы говорили о прошлом. Мы вспоминали времена «Рудина», говорили о Рудиных без кавычек. Где теперь Рудины? «Они умели умирать на чужих баррикадах, пока не было своих». — «Кто же по-вашему Рудин?» Лариса Михайловна называет имена вожаков левых эсеров, интернационалистов. Действительно, немногие из них умерли на баррикадах. Теперь это обыватели, члены профсоюза и, скажем, общественники. На прощанье у ворот морского штаба на Воздвиженке возникает яростный и долгий спор. Что будет? Немцы оккупируют Украину. Есть смелые, хорошие парни, они хотят ехать на юг драться за революцию с немцами. Они формируют боевые летучие отряды. К ним идут матросы. Как им объяснишь, как втолкуешь передышку? Они только-что вошли во вкус классового возмездия. Есть настоящие самородки-революционеры, но они привыкли драться в открытую, а тут конспирация, подполье. Для них это — верная гибель. Лариса Михайловна сердится: «Драться с немцами? Булавочные уколы, блошинные укусы».

Я вспоминаю ночной разговор на Воздвиженке и вижу людей, разбирающих неопытными руками железнодорожное полотно. Украинская ночь («Нет, вы не знаете украинской ночи...»), одинокий, облитый лунным серебром тополь у сторожевой железнодорожной будки. В шестом часу здесь пройдет немецкий воинский эшелон. Его хотят пустить под откос. И сторож, путевой сторож, стоит рядом и помогает разбирать путь. У сторожа деловой вид и суровый взгляд. Куда он денется потом с женой и тремя ребятами? Куда он пойдет из сторожевого домика с огородом, колодезем и качелями? Здесь он прожил шестнадцать лет. Но он помогает судовому механику и студенту и двум демобилизованным солдатам калечить железнодорожное полотно. Теперь для всех ясно, что не это решило победу, но в конце концов тогда за эти ошибки, случалось, платили жизнью.

«До свиданья». Перед последним рукопожатием внезапный вопрос: «Вы принесли?» Это о синильной кислоте.

Однажды я рассказал Ларисе Михайловне, что видел в лаборатории у моего приятеля-химика банку с синильной кислотой. «Кали циан. Хватит на целый полк». — «Если можете, достаньте и принесите. Полезная вещь в одном случае...» — «В каком?» — «Ну, скажем, плен. Все же я женщина. Если обезоружат». Я увидел строгий и чистый профиль на тусклом, свинцовом стекле дверей. Сдвинутые брови и сжатые губы. «Только в самом крайнем случае, разумеется». — «Разумеется».

Мы простились. Я ушел с чувством, похожим на зависть. Это был сильный и редкий характер, острый ум, для которого был ясен путь от начала до конца. У революции и ее рядового — Ларисы Рейснер — была молодость, сила и самоуверенность. Перед многими лежали еще путаные тропинки, месяцы сомнений, колебаний и испытаний жизнью и смертью. Все же этот разговор был вехой, путеводным светом. И с тех пор мыслями и всеми чувствами уже владела стихия «Двенадцати».

Революционный
Держите шаг,
Неугомонный
Не дремлет враг...

Часовой пропустил Ларису Михайловну в штаб. Я увидел ее только через два года.

2. УКРАИНА

Степь, чем далсе, тем становилась прекраснее . . .

Н. Гоголь.

Группа фельдмаршала Эйхгорна занимала Украину. В оккупированных областях открыто формировались добровольческие армии. Советские губернии были осажденной крепостью, а Москва ее штабом. Новая государственная граница — как выражались тогда немцы — проходила южнее Брянска. Заросшая бурьяном и орешником полоса шириной в несколько километров считалась демаркационной линией, нейтральной зоной. В ту пору эти заросли орешника были настоящими джунглями, населенными двуногими хищниками. В сторону города Стародуба и Клинцов двигался неиссякающий поток репатриантов, мнимых украинцев. Петроградская и московская аристократия и буржуазия начали великий исход из советских столиц, и контролеры документов с изумлением узнавали, что князь Митро Трубецкий есть, в сущности, прирожденный украинец. Прирожденными украинцами были барон Фелькерзам, графиня Граббе, банкиры Манус и Поляков. Так называемые консулы Украинской державы за некоторую сумму мгновенно обращали в украинцев уроженцев Эстляндии и коренных москвичей. Советские пограничные отряды формально не могли препятствовать этому переселению народов. Связь с Москвой поддерживали невиданные поезда: надрывающиеся паровозы медленно волокли теплушки, обвешенные гирляндами людей, крыши теплушек проламывались под тяжестью людей. И мы получали некоторое удовлетворение от вида, который приоб-

реталя в результате такого путешествия новые подданные гетмана Скоропадского. В одном вагоне я увидел однажды молодую женщину и мальчика. Платье ее было изорвано в клочья. Грязь, пот и запах махорки не отличали ее от тысячи беженцев, проделавших путь от Петрограда до новой границы. Белокурый мальчик с птичьей головкой был ее спутником. Они говорили между собой по-английски. Повидимому, у них было не совсем благополучно с документами. По существу, в те времена на это обращали мало внимания. Но молодая женщина особенно волновалась у пропускного пункта. Мы были молоды и сентиментальны в те времена (я говорю о себе и моем товарище, эксперте нашей украинской мирной делегации). Мы вмешались в разговор молодой женщины и мальчика, мы сказали, что препятствий к их выезду, повидимому, не будет, потому что они — небольшая потеря для республики. Действительно, мать и сын производили самое жалкое впечатление, их пропустили, и молодая женщина горячо благодарила нас. Ее лохмотья, остатки когда-то нарядного платья, грязь на лице и шее и свалывшиеся волосы не отнимали у нее молодой привлекательности. Она горячо благодарила нас и охрану: «Я и Светик, мы не забудем, никогда не забудем, товарищи... Скажите мне ваши фамилии, товарищи. И вам, товарищ комиссар, спасибо...» Это относилось к начальнику отряда, и он сурово сказал: «Не за что». Действительно, благодарить было не за что. Их пропустили и они перешли границу вместе с моим старым другом, экспертом нашей делегации. У немецкого поста моего товарища сразу отвели в сторону, не глядя на дипломатический паспорт, грубо допросили и пытались обыскать. Потом ему разрешили продолжать путь. На железнодорожной станции он увидел молодую женщину и мальчика. Офицер в форме гетманских сердюков и лейтенант-немец стояли перед ней, держа руку у козырька: «Ganz richtig, Gräfin, absolut, Gräfin...» (Так, графиня... Совершенно верно, графиня...) Дама уже успела отмыть грязь и пот и переодеться. Мальчик был тоже переодет в лицейскую

курточку. Нужно ли прибавить, что графиня даже не взглянула на моего товарища, когда он прошел под конвоем в двух шагах от прекрасной дамы. Так излечивается сентиментальность.

В двадцати километрах от нашего поста дымились немецкие походные кухни. Прочной связи с Москвой почти не было. Из Брянска и Москвы доходили чудовищные слухи о разрыве с немцами и конце передышки. На базаре, на станции упорно говорили о том, что на Троицу придут немцы, заберут Брянск и пойдут на Москву. В этой обстановке дымок немецких кухонь (он был виден с колокольни) и ночная перестрелка в нейтральной зоне казались началом новых, решающих событий. Поток беженцев, не иссякая, струился мимо нас. В конце концов было не до них. Охрана не слишком внимательно осматривала багаж и конфисковала ценности только в том случае, если их неумело скрывали. Но вслед за официальным досмотром в демаркационной полосе поданных Скоропадского подстерегали хищники джунглей; они иногда грабили дочиста и были в сравнительной безопасности. Ни советские войска, ни немцы не проникали в нейтральную зону. Такое положение было небезопасно. Бандиты провоцировали конфликт между нами и немцами, и исход этих конфликтов, при явном перевесе сил немцев, был ясен для каждого. ЧК делала все, чтобы очистить зону от бандитов, с ними расправлялись сурово и безжалостно, но вести борьбу в самой нейтральной зоне было невозможно. Однажды я присутствовал при переговорах комиссара пограничного отряда с немецким майором. Место встречи было условлено. Мы поднимались по пригорку с белыми повязками на рукаве и без винтовок. Птицы пели в густом орешнике, острый запах раздавленных стеблей, звенящий воздух знойного полдня и скрип колес — все было обыкновенно, идиллически мирно в этом дьявольском месте, называемом нейтральной зоной. Здесь еще больше ощущалась искусственность навязанной нам мнимой границы, где кончалась власть Советов, власть крестьян и рабочих, и начиналась власть оккупирующей армии и опере-

точная гетманская держава. Мы выехали из кустарника и увидели немцев у верстового столба. Я думаю, что у нас всех были одинаковые чувства. Мы были лицом к лицу с самым страшным (в те времена) врагом революции. Немцы были в синих стальных шлемах, при винтовках и ручных гранатах. Вестовой держал лошадь майора. Майор сидел на складном стуле с часами в руках. Круглые очки, острый, курносый носик и треугольное личико делали его похожим на филина. Круглые стекла очков блестели как свиные пустые глаза. Вся группа иностранных солдат выглядела неестественно на полях и равнинах, где скудная и серенькая среднерусская природа уже уступает мягкости, прозрачности и теплоте украинского пейзажа. Я прочел по-немецки наше заявление по поводу случаев в пограничной полосе и мер, которые будут нами приняты. Крестьянская телега поднималась по шоссе, и унтер-офицер пошел ей наперерез и сказал «цурюк», и по тому, как селянин задергал и погнался назад лошаденку, я понял, что слово «цурюк» и особенно режущий жест рукой — привычные слово и жест. Кто-то из наших вздохнул и тихо щелкнул языком. Майор выслушал до конца, сказал «зо» и встал. Вестовой подвел ему коня. Мы смотрели на немецких солдат. У них был довольный и сытый вид; они смотрели на нас с любопытством, но без всякой враждебности. Вероятно, мы представляли странное зрелище в полувоенной форме, без оружия. Особенно поразил их высокий, скелетообразный человек с волосами до плеч, его матросская рубашка и стеганые, защитного цвета, солдатские штаны. Так кончиолсь это свидание. Но оно имело продолжение, не очень благополучное для нас. В числе сопровождающих комиссара был некто, называвший себя Иван Бунтарь. Это был худой, как скелет, длинноволосый, бритый, похожий на актера человек. Он считал себя то левым эсером-интернационалистом, то анархистом-коммунистом. В нем было много от провинциального театра, вернее от эстрады летних садов. Он рьяно митинговал при любом случае, и это было неудивительно для того времени и в условиях лагерной жизни. В отряде

его называли «бритый поп». Его митинговые речи были смесью рифмованного эстрадного монолога и поповской проповеди. В общем это звучало архиреволюционно и абсолютно сумбурно. Состав отряда был смешанный, лучшая его часть — московские красногвардейцы, группа латышей и наконец демобилизованные солдаты маршевых рот и фронтовики, вовлеченные в революционную стихию. Таких было большинство. Мы вернулись после свидания с майором; нас окружил отряд, каждый из нас рассказал, что видел, но «бритый поп» говорил больше всех. Я уходил в местечко и вернулся и написал донесение о встрече с майором. «Бритый поп» стоял на крылечке; его окружало человек сорок, и он говорил в обычном тоне, приплясывая и подпевая, говорил стихами и прозой, перемешанными с матерщиной; он порвал на себе матросскую рубашку и плакал настоящими слезами, размазывая грязь по лицу. Он грозил кулаками в сторону немцев и плакал по погибающей матери-Украине. Его слушали внимательнее, чем всегда. Потом я ушел ночевать в местечко. Я жил у мелочного торговца-еврея и спал на полу, а не на устрашающих пуховиках кровати. Я заснул сразу и проснулся от правильно повторяющегося грохота, точно с перерывами бросали на камни чугунные балки. Это были орудийные выстрелы. Была темная, душная летняя ночь. Выстрелы шестидюймовых орудий повторялись с абсолютной точностью, и край неба вдруг окрасился розоватым, потом ало-желтым заревом пожара. Шпанов? Нет, Медовое. И то и другое было на советской территории. Никто вокруг не говорил о немцах, но все думали о них, и началась обычная ночная неразбериха, переходившая в панику. Утром все объяснилось. «Бритый поп» сагитировал фронтовиков. Они поставили трехдюймовку на платформу, прицепили маневренный паровоз и, выдвинув платформу до разъезда, обстреляли из трехдюймовки немецкие посты. Уцелевшие от этой экспедиции рассказывали, что немцы сначала побежали в панике. Они полагали, что вся советская армия перешла в на-

ступление. Но знаменитая дисциплина и боеспособность еще не покинула немцев, и через двадцать минут батарея шестидюймовых орудий открыла огонь по хутору и селу у полотна дороги. Село выгорело, были жертвы, но «бритый поп», вероятно, не увидел финала; он исчез, пропал без вести в ту же ночь, оставив отряд в полном недоумении относительно себя. Так и неизвестно, кто он был — сумасшедший, фанатик или провокатор.

Так было в те времена, и только дальновидные политики понимали, что дело не в булавочных уколах, понимали, что стальную фалангу Макензена расплавит пламя революции. Иногда это понимали, вернее, угадывали, рядовые бойцы. Каким образом матрос военного транспорта, человек, едва осиливший грамоту, уже немолодой, суровый, замкнутый человек, мог исполнять обязанности начальника и комиссара отряда в это сумбурное и опасное время — это загадка революции. Каким образом он, опираясь на небольшую группу красногвардейцев, мог обуздать вольницу семнадцатого года, установить сравнительный порядок в районе и почти вывести бандитизм — это тоже загадка. Очень просто набросать ставший уже банальным тип «братишечки», полумахновца, сорви-головы, интуитивного революционера, плохо разбирающегося в политических вопросах. Такой тип — уже маска в литературе о гражданской войне. Но у Антона Антоновича Скорикова нет ничего общего с этой маской. Я видел этого человека в самых разнообразных обстоятельствах. Я видел его взятым в кольцо толпой обозленных демобилизованных (они требовали единственный паровоз для своего эшелона), я видел его и шестнадцать красногвардейцев и латышей лицом к лицу со ста двадцатью бойцами его отряда. Эти хотели мстить за убитых немцами товарищей в трагическую ночь, когда немцы сожгли и обстреляли Медовое. И я видел его каждый день за хромоногим, грубо сколоченным столом. с карандашом и школьной синей тетрадкой. Перед ним лежали горкой отобранные у подданных Скоропадского золотые часы и драгоценности, длинные ленты керенок.

пачки думок и плотные пачки сотенных. И он писал четырехугольными разборчивыми буквами: «Взято у гр. Маргулиеса зол. часов шесть штук, брошь с шестью камнями брил. одна и деньгами...» Раз в неделю он отправлялся в город, в совет, с двумя гранатами за поясом и круглой деревянной коробкой и сдавал конфискованные ценности. Председатель совета ставил черту под списком и писал «принято» и ставил печать. Когда Скориков заболел тифом и его увезли в город в жару и бреду, синие тетрадки были с ним на груди. В этой же синей тетрадке, на последней странице, я однажды прочитал: «Рассказ А. А. Скорикова. Я, Антон Антонович Скориков, из мещан города Санкт-Петербурга, матрос добровольного флота, имею от роду тридцать один год. В 1916 году был потоплен подводной лодкой на транспорте № 45, потому что стояли мы, когда зачалась война, в порте Шербург и плавали потом по перевозке солдат из Дувер в Кале. На утро, когда брали нас шестерых, я сильно захолодал, потому что был месяц ноябрь. Теперь вернулся на родину и был ранен в городе Москве в месяце октябре на Тверском бульваре, когда у юнкеров брали дом восемь. Читал газету «Правду» и «Социал-демократ» и голосовал за пятый номер. Выйдя из госпиталя, поступил в партию большевиков. Антон Скориков». Скорикова я увидел еще однажды — в 1920 году, в Ленинграде.

Немцы производили импозантное впечатление. В Украину посылали испытанные боевые части как бы на отдых, на поправку. Это были части, испытавшие ураганный огонь под Шато Тьерри и Верденом. Я не преувеличу, если скажу, что у солдат был монументальный вид в стальных, котлообразных шлемах и серых, как бы металлических, мундирах. Они были довольны солнцем и теплом, украинским хлебом и сравнительным покоем. Они посылали на родину, в отощавшую, изголодавшуюся Германию, аккуратно упакованные посылки с мукой и салом. Планомерно и безжалостно подавляли крестьянские и рабочие восстания. Их офицеры полагали, что на дикий народ надо

действовать испытанными колониальными методами, то есть публично вешали рабочих и шахтеров в Донбассе, расклеивая на двух языках объявления о предстоящей казни. Однако это не всегда помогало. Взлетали на воздух пороховые склады и склады огнеприпасов в Одессе, Киеве, Николаеве и Кременчуге. Катились под откос воинские эшелоны, и партизаны выдерживали бои с железными баварскими батальонами. Я видел торжественные похороны фельдмаршала фон-Эйхгорна. Его убил матрос Борис Донской. Гетманские сердюки — гвардия Скоропадского, из сынков украинских землеробов — выстроились вдоль Крещатика. Это был символический траурный апофеоз военной мощи императорской Германии. Зеленовато-серые колонны спускались на Крещатик, бряцая железом и сталью. Кольхались языки факелов, отсвечивая на стали штыков и шлемов. Гром подков и гул тяжелых солдатских шагов заглушал траурный рев труб. Одни барабаны — барабанная дробь нарастающим и спадающим прибоем покрывала лязг железа и грохот шагов. Говорили, что все оркестры играли один и тот же марш из «Гибели богов». Траурный поезд прошел мимо киевского арсенала — упрямой и, казалось бы, несуществующей крепости революции. И затем он рассеялся, растаял как дымовая завеса, этот траурный поезд императорской Германии. Потом эти же солдаты сидели в зрительном зале опереточного театра. В президиуме совета солдатских депутатов на сцене тоже сидели солдаты бывшей, уже несуществующей группы Эйхгорна, пили пиво, дымили крепким табаком. Играющие в политику лейтенанты, морщась от крепкого запаха, уговаривали солдат уйти из этой страшной страны, соблюдая хоть некоторый боевой порядок.

Победа летела впереди войск революции. Искусственно задержанная оккупантами весна на этот раз была дружной весной. Две недели я странствовал с артиллерией Таращанской дивизии. В эпоху партизанских формирований артиллерийские части сохраняли полную самостоятельность, подчиняясь командующему только в оперативном

отношении. Они различались по наименованиям, были именные бригады: «Имени германской революции», «Имени Третьего интернационала», но были и номерные бригады, сохранившие вооружение, кадры и номер от старой армии. Я странствовал именно с такой бригадой. Началась ранняя украинская весна. Первый же дождь обратил шлях, грунтовую дорогу, в чернильную черноземную жижу. Крестьянские лошадки, перемогаясь, вытаскивали из грязи орудия. Казенная сбруя изнасилась и давно перестала существовать: ее заменила веревочная упряжь. Кони и сбруя, разумеется, не выдержали бы самого снисходительного инспекторского смотра, но по боевой подготовке люди выдержали бы любой смотр и бой. Но мы шли без боев — незначительные части петлюровцев отступали к польской границе. И в этих странствиях я сдружился с Емельяном Бондаренко — дядей — и Петрусем — племянником. На горизонте с червонным казачеством двигался еще третий Бондаренко, тоже из Черниговщины, но наши Бондаренки были батраки, до революции работавшие на графской экономии, а тот Бондаренко жил «по пид ричкой» хуторянином. Словом, как у Гоголя: «Писаренко, потом другой Писаренко, потом еще Писаренко — именитые, дюжие казаки». В этих странствиях возникли наше товарищество и дружба, когда трое спят под двумя шинелями и на дневке делят на троих две печеных картофелины и одно печеное яйцо. И на-глаз трудно было найти разницу между двумя наследственными батраками и бывшим студентом, наследственным мещанином. Старший Бондаренко всего год, как вернулся из немецкого плена. Испытания и бедствия углубили и закалили этот ровный и цельный характер. Я редко встречал во всей моей жизни такое мудрое и глубокое приятие революции, единственного средства «найти правду», изменить и перестроить мир. И не этот ли человек имел безусловное, неоспоримое право на эту правду, дважды раненый, испытанный голодной молодостью батрака, тяжелой солдатчиной и невыносимой для человеческих сил эпопеей германского плена? Но даже из плена

он сумел вынести уважение к технике, знаниям и целевой, монологичной мирозерцание пролетария, твердое деление мира на своих и чужих, на угнетенных и угнетателей. В одну ночь, когда «что-то величественное и страшное при-
мешивалось к красоте ночи», — догорали подожженные петлюровцами станционные строения и «над огнем вились вдали птицы, казавшиеся кучей темных мелких крестиков на огненном поле», — Бондаренко рассказывал о плене и о том, как шестерых русских пленных отправили во Франкфурт будто бы для работы на химическом заводе: «...встречают их работницы во дворе и почему-то плачут, потому что они знали, на что их ведут и зачем привезли...». А привезли их затем, чтобы испытать на живых людях, русских пленных, действие новых удушливых газов. Об этом удалось узнать, когда заключили мир и справлялись об умерших в плену и пропавших без вести. Это был, пожалуй, самый страшный рассказ из всего, что я слышал от старшего Бондаренко. Утром мы пересекли железнодорожное полотно. В стороне от водокачки — свежая взрытая земля. Неизвестная женщина плакала над этой могилой: «Ой, не змиловались, позабывали на смерть... От же ж есть у чоловіка ридна маты, а може жинка и диты... За що ж воны их...» Нас провожал плач неизвестной женщины над могилой двух неизвестных. Их привели с собой и зарубили петлюровцы, оставляя станцию. Орудия и обозы растянулись на полверсты. Скрипели в облаках пыли возы, перекликались люди: «Старшина Гайда? Старшина Гайда?» Так, вероятно, двигались в походе запорожцы. Конники уже были давно за селом и переходили в брод разлившийся в целую реку ручей, а бригада только входила в большое богатое село. Было жаркое утро, парило как в испарине, дышал чернозем, первая зелень прозрачным, нежно зеленым облаком одевала сады. За перелазом у плетня стоял селянин, сонный, широкоплечий, даже величественный в белой вышитой рубашке. Почесывая спину, он курил трубку и строго оглядывал хозяйство — «свой» сад, огород, хату, клуню, дальше

поле за хатой и волов под навесом. Хозяйским глазом он оглядывал свое хозяйство, собственность. А за плетнем, по широкой сельской улице, пылило «войско», войско шло мимо воевать за Советы, за «радянску владу» — советскую власть. И он поглядел на коней и орудия через плечо, как будто ему все равно было то, что в конские гривы вплетены красные кумачевые ленты, а не желто-блакитные — желто-голубые — цвета петлюровцев. Бондаренко-старший подъехал к плетню, фейервейкер старой армии, бывший военнопленный, старшина Бондаренко — наследственный батрак — встретился глазами с хозяином — с будущим, последним и самым страшным своим врагом. Они поглядели друг на друга, хозяин отвернулся и пошел в хату.

Мы были на подступах к Киеву. Весна встречала нас зеленеющими нивами и лесами. На перекрестке тускло глядела на нас с креста желтая резная фигурка Иисуса. «Воздух был наполнен тысячей птичьих свистов». Родина, юго-запад, встречала нас головокружительной весной. Я думаю, что не было ни одного из всех трех тысяч вооруженных людей, который не поддался бы очарованию этих ночей и зорь, должно быть потому все пели, пели веселые и грустные песни:

Половина тих садив цвите,
Половина развеается,
Не вся и пара под винец иде.
А иная и разлечается...

Соединялись пары и в эту весну, но тысячи пар разлучались и разлучались навсегда.

Трудно передать ощущение человека, входившего в город с войсками революции. Они проходили по окраинам, не встречая сопротивления, здесь они видели самую искреннюю радость. Они продвигались к центру с оружием в руках, внимательно поглядывая на чердаки и крыши. Внезапно в бессильной злобе хлопает пулемет в слуховом окне, и дом окружают, берут в кольцо, и пламя гаснет

в пулеметном дуле. Слабо щелкают ружейные и пулеметные выстрелы, но к ночи они переходят в частую перестрелку. Мы двигаемся ощупью по темным переулкам, слушая оклики: «Пароль?» — «Сабля». — «Отзыв?» — «Симбирск». Бессонная, утомительная, незабываемая первая ночь во взятом с бою городе. Через неделю жизнь войдет в норму. В гостинице Гранд-отель застучат машинки исполкомовских машинисток, у особняка сахарного магната запыхтят боевые, потрепанные штабные машины, на заводских окраинах, надрывая горло, в десятый раз выступит на митинге член Реввоенсовета или член губкома. Город изменит лицо. В зале кафешантана две недели назад шансонетки пели: «Я, Таня, ребенок нежный», чины особого русского корпуса, с револьверами в руках, требовали у капельмейстера марш Нижегородского драгунского полка и «Боже, царя». Здесь будет клуб первого коммунистического полка. Кумач, плакаты, листовки и воззвания уничтожат всякие воспоминания о временах Преображенского марша и «Боже, царя». Армия революции входит в город. Она имеет неопишимо пестрый, своеобразный вид армий санкюлотов. Проходят конники в гимназических, офицерских и генеральских шинелях и при белых саблях и палашах (к ним имели особую склонность партизаны). Под шинелями мундиры разных эпох, разных полков и ведомств. Гусарские ментики, взятые с бою у разоруженных венгерских гусар, а может быть, без боя в уездной театральной костюмерной. Однажды я увидел сияющего, как солнце, всадника. Он весь горел золотом, он был в золотой царковной парче с головы до ног. Это было ослепительно. Галифе и френч, сшитые из церковной парчи, отражали весеннее солнце, а вздернутый нос и веселые глаза — молодость и жажду жизни, какая может быть только в двадцать лет.

Революция отбрасывала назад сопротивляющихся, революция вовлекала в свою орбиту новых спутников и союзников. Доцент Политехнического института, ученый, готовящийся к кафедре по финансовым наукам, от имени комис-

сии по контрибуции делал обстоятельный доклад перед купцами и коммерсантами, собравшимися в державном театре. Он обстоятельно доказывал, почему именно данная группа населения обязана платить контрибуцию, он ссылался на авторитет признанных экономистов, он цитировал Спинозу и Маркса и статьи «Коммуниста» и, закончив почти научный доклад, уступал место следующему оратору. А следующий оратор сообщал этой публике, что все выходы из театра заперты, что театр оцеплен и ни один из названных граждан не будет выпущен на свободу до тех пор, пока не внесет контрибуции. И в тот год, когда противники схватились, не выпуская друг друга, в последней смертельной схватке, по улицам блокированного бандами города ходили с глубокомысленным видом чудаки-поэты, поэтические чудаки. Для них еще ничего не изменилось в окружающем — их маленькие бури, словесные битвы и мнимозначительные страсти бушевали под четырьмя этажами Дома советов, в поэтическом подвале, называемом Х л а м. Х л а м — акrostих из следующих слов: художники, литераторы, артисты, музыканты. В самом названии подвала, как видите, было своеобразное разоблачение, саморазоблачение. Там Осип Мандельштам еще «изучал науку расставанья в простоволосых жалобах ночных». Однако новый язык, новые словообразования устремляли поэтов в космические сферы, в палеонтологическую эпоху. С метелями «Голого года» перекликались такие стихи:

От этих томных и тягучих букв
Пленительный, необычный аром,
Как вопль шамана и удары в бубен:
Гувуз, Гувуз, Главбум, Чусоснабарм.

Но затем поэт уже окончательно приземлялся и конкретизировал, обращаясь к тем, «кого еще не сгребла Чека»:

Послушайте-ка, вы — барин,
Вы смотрите упрямо и тупо.
Ничего,
Еще успеет купить татарин
Штаны с вашего трупа...

отчего сразу пустела часть столов и у выхода начиналась давка. Но, в общем, что значили даже такие стихи рядом с боевыми приказами и лозунгами, которые обсуждались во всех этажах Дома советов над сводами подвала? Старшее поколение поэтов все же искало оправдания своим стихам и темам. Илья Эренбург защищал свою мистерию «Золотое сердце»; он искренно полагал, что ее может издать издательство Наркомвоенна Украины. В «Золотом сердце» были и такие строфы: «В нашей бедной церкви, где мы вздыхали и плакали, как плод, созрело сердце пресвятой богоматери. Золотое сердце! Великий плод! Оно всему миру дает». Осип Мандельштам писал мифологические басни. В геральдических зверях читатель должен был угадать хотя бы государства Антанты, впрочем это было не обязательно. Почти в то же время красные партизаны, не прочитав мифологических басен, заставили французов сесть на суда, и атаман Григорьев в историческом, расклеенном по городу Одессе, приказе так формулировал политическую ситуацию на Западе: «Взятием Одессы я выбил стул из-под ж... Клемансо».

Но в общем литература и искусства переживали великую эпоху политического самоопределения и глубокого расслоения. Это происходило и на заседаниях Всеукраинской академии, где обсуждали проблемы языкознания, и сражались против русского и против украинского шовинизма, и на заседаниях так называемого «левого блока», где так и не пошли дальше первого тезиса декларации. Несмотря на то, что вооруженных сил еле хватало, чтобы удерживать Киев, была уверенность в победе и люди строили планы в расчете на месяцы и годы. В театре уже поняли, что постановка «Саломеи» Уайльда и «Овечьего источника» Лопе де Вега есть в сущности отговорка, но репертуара не было, и к неделе всеобуча одному и тому же автору предлагали в порядке приказа за пять дней написать: социальную феерию для цирка в трех актах под названием «Все к оружию», одноактное представление из эпохи Великой революции под названием

«Отечество в опасности» и одноактную пьесу для красноармейских клубов «Последний день Парижской коммуны». И, действительно, все это было готово в срок, и такая была жажда в отвечающем времени репертуаре, что курсанты, красноармейцы и рабочие встречали взрывом оваций эти наивные, упрощенные, но искренние агитки.

Фронт начинался за городской окраиной. Фронт был на первом полустанке, то отдалялся на сто километров, то оказывался тут же, в городе, в километре от губкома и исполкома. В районе Фастова странствовал на убранный коврами тачанке безымянный «батько» в камергерском мундире. Вокруг него гарцовали, казнили и миловали народ гайдамаки девятнадцатого года, и войсковой писарь выдавал помилованным грамоты в роде такой: «Разрешаеца жить на белом свете». В самом гарнизоне не всегда было благополучно. Однажды в полевом трибунале судили пулеметчика бронепоезда за то, что он убил красноармейца-музыканта. Команда бронепоезда послала трибуналу ультиматум: она требовала освобождения убийцы. Пока на вокзале политработники и командиры говорили с командой, мы выдвинули сторожевое охранение, на перекресток поставили бронемашину. В городе сразу опустели улицы, заперлись ворота и подъезды и закрылись ларьки. Но переговоры на вокзале кончились благополучно, южный говор, смех и шуршание тысячи шагов опять наполнили улицы. Уехал, посвистывая, броневик, сняли сторожевое охранение у трибунала, и восторжествовал суровый революционный закон. Фронт был боевой и политической школой. Приходили пополнения из молодых и старых рабочих, в первом же бою они обучались обращению с «гочкисом», «максимом» и «луисом»; лектор политотдела обучал их политической экономии и географии, истории и историческому материализму. Иногда в тот самый час, когда лектор посредством цитат из Маркса и Ленина разоблачал мнимый марксизм меньшевиков, дежурный останавливал его жестом и выкликал: «Такая-то рота такого-то полка в расположение полка», и лектор оказывался перед пустым залом и, спохва-

тившись, вспоминал, что в шесть часов начинается его дежурство уже в качестве рядового бойца коммунистической роты при политуправлении наркомвоена УССР. Всероссийское бюро военных комиссаров — Всебюровоенком — уже превратилось в ПУР, и бок-о-бок с армиями странствовали политотделы и агитпросветы с киноаппаратами, библиотеками, типографскими машинами, бродячими фронтовыми актерами и музыкантами. Они оседали сразу цыганским лагерем в километре от фронта, рассыпали листовки и воззвания, облепляли города полотнищами лозунгов и агитплакатами из фанеры. Мы кипели, спорили, агитировали, пропагандировали — в конце концов в кругу с небольшим диаметром от Подола до Демидовки, потому что от Коростеня напирал Петлюра, с юга шли, выдыхаясь на быстром марше, деникинцы, а в Триполье еще не остыли трупы замученных кулаками комсомольцев.

Мы кипели в котле революции, мы плавилась в огне гражданской войны, но все же временами были ломким металлом. Личные трагедии, личные страсти не совсем заглохли в моем сверстнике. Он разгрузился от фетишей, для него уже не существовало политических миражей; перед лицом смерти, взятый на мушку врагом, он принимал на себя ответственность и за реквизицию кроватей для раненых, и за новое правописание, и за все декреты и за неделю террора. Но нечто нельзя было сразу отвергнуть, сломать и забыть. Люди убивали себя из-за несчастной любви, люди искали смерти, когда умирала любимая. Это было утверждено в них романтической поэзией, «Вертером», музыкой, шекспировской трагедией. Смерть любимой вдруг ставила моего сверстника перед черной бездной. Он выходил из знакомой комнаты, ее комнаты, на солнце, в зелень и жизнь. Но он шел по улице, не видя солнца и жизни. Крышка ее гроба закрыла для него мир. Он не видел мчащихся по улице грузовиков с вооруженными рабочими, он не слышал тревожных заводских гудков. Он не видел вооруженных товарищей, бегом спускающихся к заставам. Смертельная пустота и отчаянье внутри.

Он окаменел, не чувствовал, что город под ударом, что если не отбиться, не отпрыгнуться от банд, взрослые и дети обречены на чудовищную резню, город — на пожар и разграбление. Бессознательный дезертир, уходил он по притихшим улицам в пустынный парк. Ухали шестидюймовки военной флотилии, стрекотали пулеметы, на одной стелящей ноте выли гудки паровозов и заводов — но он смотрел в степные дали, в серебряный траурный позумент реки и видел восковое лицо и бархатную, точно подрисованную бровь мертвой. Солнце спустилось на край земли, потухло небо; таким его застал сырой вечер, ночные звезды. Наконец он ушел из парка и долго шел по пустым улицам, не прислушиваясь к перестрелке. Внезапный оклик и лязг ружейного затвора привели его в себя. «Пароль?» Кто его окликнул, свои или враги? «Стой» — и дуло винтовки упирается ему в грудь, двое хватают его за руки. Он сообщает: «Чей патруль? Чья разведка?» Как пробудившийся от наркотического сна, он слабо припоминает утреннюю тревогу. Кто же его взял — свои или чужие? Его ведут во двор казенного здания, обыскивают, находят револьвер и бумаги. Человек с забинтованной головой говорит: «Ясно. Видать, что за птица. Поторопился малость. Что ж, время горячее. Веди». И мой сверстник чувствует близость смерти, легкой смерти, вместе с тем равнодушие и желанный покой, успокоение. Все же в ногах слабость, легкая дрожь, он идет вдоль нескончаемо длинной кирпичной стены, между плеч пробегает холодок от близости ружейного дула. И вот уже конец стены, прямой угол, тупик, дальше пути нет, конец. Вдруг торопливые шаги и крик: «Стой, Михалюк! Назад! Где тот товарищ-». В чернильной тьме вспыхивает молочно-белый, радужный круг электрического фонарика и слепит глаза. Радужный кружок упирается в удостоверение и карточку: «Ты ж свой. Чего ж ты молчал, чорт? Время такое, товарищ. Ведь мы ж тебя чуть...» Он молчит и с трудом находит слова: «А почему я знал, что свой?» — «И то правда. Тут мы, там они. Чорт разберет. Слоеный пирог. Ну, дела, у меня аж ру-

баха взмокла. Отходят банды». Марлевая повязка мелькает в свету, красный, воспаленный глаз и усталое лицо командира. Стыд, раскаянье и презрение к себе охватывают моего сверстника. И вместе с тем внезапная легкость, радость пробуждения. И мой сверстник идет в обход с патрулем, в ночь, в переключку ружей и сухие пулеметные трели. Он идет твердым шагом, прежним бодрым шагом, восемь смертей в его руке, в обращенном к врагу вороненом дуле. Кризис прошел. Он здоров, он будет жить, он здоров.

Это новелла; короткая, правдивая новелла, одна романтическая страница из жизни моего сверстника. Утро приносит реальность, легкую печаль, легкую болезненность в том месте, где заживающая рана. Жизнь продолжается, надо закреплять тыл. Нас посылают на массовые операции, город еще переполнен контрреволюционерами, бандитами и разведчиками. Мы пришли в особнячок, забытый особняк на горной тихой улочке. Старуха с мужеподобным лицом встретила нас в кабинете. Она стояла под портретами генералов и митрополитов и, не мигая, смотрела на свет. Это была помещица, миллионерша, покровительница союза русского народа и студентов-академистов. В доме не было никого, кроме старухи и ее прислуги-монашки. Восковое, безгубое, сухое лицо желтым пятном всплыло в свете лампы. Оно окаменело и не менялось, не изменилось даже тогда, когда вскрыли замурованные в стене кабинета винтовки, царские портреты и прокламации и архивы «особого русского корпуса», который перестал существовать четыре месяца тому назад.

Однажды ночью был расстрелян грек-булочник, палач-доброволец при одесской тюрьме в эпоху военно-окружных судов. Это был тупой и глупый, уже старый человек. В последний раз он вешал в 1910 году и, вероятно, думал о том, что ему угрожала мирная и сытая старость на Арнаутской улице в собственном доме и квартире при булочной. Он бежал из Одессы в Киев в первые дни революции, он боялся соседей. Но возмездие пришло в Киеве;

его выдал кто-то из арестованных охранников, «чтоб подыхать было легче». Отовсюду приходили смотреть на палача. Он сидел на лестнице, почесывал небритую щеку и изредка зевал, толстый, опухший, уже старый человек. Он держал под мышкой каравай белого хлеба, глиняную кружку и в чистой тряпочке сахар. Все было припасено, заранее приготовлено на случай ареста. Полчаса он просидел на лестнице, не произнося ни слова и не отвечая на вопросы, и потом вдруг попросил кипятку. Все время приходили люди и смотрели на старого палача, как смотрят на труп, который надо убрать как можно скорее. Я почувствовал что-то в роде тошноты, но тут сыграли свою роль некоторые отроческие воспоминания. Однажды летней ночью в 1910 году трое гимназистов возвращались из сада попечительства о народной трезвости на дачу Среднего фонтана в Одессе. Они шли мимо Чумной горки — братской могилы умерших от чумы. Им было немного страшно, потому что вблизи находились переулки Шарлатанский и Сахалинчик — так нехорошо назывались эти дурные места. У тюрьмы их вдруг остановили конные стражники. Испуганный пристав пронзительным голосом погнал гимназистов прочь от шоссе, к морю. Конный городовой для верности поехал следом за ними. Старшему из них было шестнадцать лет, младшему четырнадцать, и все сразу поняли, что происходит сейчас в стенах тюрьмы и почему ночью в этих пустынных местах полиция. Стук копыт в молчании ночи, мигающие фонари тюремной ограды — самое страшное воспоминание ранней юности. Именно в ту ночь работал старый палач, то-есть тогда он был еще не настолько стар, чтобы не суметь за двадцать пять рублей с головы сделать подлое дело. Теперь он сидел на лестнице; ему дали кипятку и дали возможность допить кружку до последней капли. Возмездие пришло не так, как это полагается в трагедии; он сидел не в Косом капони́ре — камере смертников в царское время, а в подвале барского особняка и кончил жизнь без того церемониала, который привык видеть, когда вешал революционеров во дворе одесской тюрьмы. Но в этом

прозаическом акте был великий закон революционного возмездия, справедливая кара, неумолимо постигшая старого палача через десятилетие.

Мы жили, мечтали, воевали, любили. Мы не знали, где застанет нас завтрашний день и застанет ли он нас в живых, но с нами была молодость, молодость революции и какая-то несокрушимая счастливая вера в то, что мы делаем правое дело. Мы были в своей семье, в семье бойцов за Интернационал и научились у них не думать о смерти и не верить в смерть. Однажды наш товарищ Митя Гольдберг не пришел в маленькое кафе Грека в проходном дворе у Думской площади. Там, на некрашенных столах в узенькой лавчонке давали ароматный, крепчайший турецкий кофе. Там можно было встретить рядового красноармейца и члена рабоче-крестьянского правительства. Митя Гольдберг — политработник армии — не пришел в условленный час в кафе. Он погиб вместе с маленьким отрядом курсантов и немцев-спартаковцев на Житомирском шоссе, и там, где билось его буйное и отважное сердце, где отливала эмалью красная звезда в серебряном венке, бандиты атамана Струка вырезали ножом кровавую пятиконечную звезду. У него была короткая, но бурная биография. Он был льежским студентом, говорил по-французски как француз и ругался по-одесски как одесский грузчик. Он насмерть дрался с гимназистами гимназии союза русского народа на Греческой. Он воевал в Карпатах и получил два солдатских Георгия, и в семнадцатом году сгреб их с широкой груди и бросил в мусорную яму. Он прожил двадцать семь лет, чтоб умереть за красную звезду, звезду Интернационала. Его вспомнили добрым словом и, как могли, отомстили за него триста, пятьсот, а может, и тысяча его друзей и товарищей на всех фронтах гражданской войны.

Так умирали и жили, и писали стихи на облигациях и акциях Джемгаровых, Лианозовых. Учились военному делу и гуляли в том же, бывшем Царском, саду с девушками...

Весны золотая свирель
И эти речные дали,
Не знаю, бывает всегда ли
Такая весна и апрель.

Ядовитый критик говорил, что золотая свирель скорее подходит к осени, чем к весне. Ядовитый критик в длинной кавалерийской шинели, высокий худой человек с утомленным и бледным лицом, теперь легендарный Павлов, вернувшийся из Черниговского района с остатками своего отряда. И он шутил над временной своей неудачей, и с ним говорили почтительно, хотя в те времена еще не было трех орденов Красного знамени на его старенькой гимнастерке. Он прошел всю гражданскую войну с храбростью обрешшего себя на смерть фанатика, непоколебимостью комиссара Конвента и печальным юмором философа. Он прошел небредимым сквозь ураганный огонь, чтобы случайно и жутко утонуть в желтой и мутной китайской реке. Именно эти люди — командиры, комиссары, политработники — исполнили приказ коммунистической партии: обуздали стихию, переплавили разноликую, пеструю партизанскую массу в РККА — Рабоче-Крестьянскую Красную армию. Батэки-атаманы обзывали их ненавистной кличкой «назначенцы», предавали их мучительной смерти и просто предавали врагу, но уже в 1919 году из разношерстной и пестрой массы вырисовывался монолит — дисциплинированная, знающая свои цели, классовая Красная армия.

Москва и Петроград и недавние встречи вдруг напомнили о себе. На путях вокзала, в хвосте воинского эшелона я увидел сооружение на колесах, называемое в то время бронеплощадкой. Морское орудие высовывало жерло в прорез брони, и на серой стали брони я прочитал: «Бронеплощадка имени тов. Раскольникова». И это убийственное сооружение через деникинский и бандитский махновский фронты связало Днепр с Волгой и напоминало о недавних московских встречах. Эшелонем и броневыми силами командовал Семен Михайлович Лепетенко, упоминаемый Ларисой Михайловной в книге «Фронт». От матросов-черно-

морцев и балтийцев я узнал о пленении Раскольников на миноносце под Ревелем, о сидении в лондонской тюрьме. Затем его обменяли на пленных англичан, и он вернулся во флот и командовал Волжско-Каспийской военной флотилией. Раскольников вернулся из королевской тюрьмы, заучив на всю жизнь методистские псалмы на английском языке. Он запомнил их, как мы запомнили упражнения из Нурока. От скуки он ходил по воскресеньям в тюремную церковь, и проповеди были для него первыми уроками английского языка. От черноморцев я впервые услышал имена Миши и Бориса Калинина, Владимира Кукеля, Володи Соколова, Кожанова, Сатанина, Андрея Синицына. Чухновского (летчика Чухновского, которого знает мир). О них писала Лариса Михайловна в книге «Фронт», и все они останутся в памяти потомков так же прочно, как имя Чухновского, хотя комиссар Северного отряда моряков Миша Калинин сейчас скромный прораб (производитель работ) где-то в Армении, а другой Миша, Миша Кириллов, изощряется в биомеханике в театре имени Мейерхольда.

Передо мной лежит лист плотной бумаги. В левом углу бланка — комиссар Морского генерального штаба. Ниже карандашом написаны стихи персидского поэта XI века Омер-Хайама:

Неправда ль странно? Сколько до сих пор
Ушло людей в неведомый простор,
И ни один оттуда не вернулся:
Все б рассказал, и кончился бы спор.

«Неправда ль странно», что эти строки написаны на бланке «комиссара Морского генерального штаба». Комиссаром штаба была в 1918 году Лариса Михайловна Рейснер. Это ироническое четверостишие — мудрая насмешка над лукавыми мудрствованиями мистиков и спиритов, в духе и вкусе Ларисы Михайловны, и вот где секрет ее мужества перед лицом опасности, бесстрашия и спокойствия в минуты смертельной опасности. В спорах о поэзии и философических спорах ее собеседник встречал то же

бесстрашие, углубление в дебри, в лабиринт враждебных философских систем, но ариаднина нить ее мысли всегда приводила к единственной верной системе — материалистическому пониманию мира.

Лариса Рейснер была едва ли не первым писателем, работавшим над материалом гражданской войны. Ее первые очерки, напечатанные в «Известиях», прокладывали пути художественному очерку, они провели ясную видимую грань, черту между личной храбростью, доблестью дореволюционного солдата и героизмом красноармейца и краснофлотца — военмора гражданской войны. «Карл XII, — пишет Вольтер, — первым выезжал во главе своих драбантов и с удовольствием рубил и убивал... Вот пример того, что во все времена и у всех народов называлось героизмом». И когда Лариса Михайловна называла по именам героев Царицына и Волги, она показала примеры того, что и в наши дни в пролетарской революции есть истинное героизм. Немногие в то время понимали значение ее очерков. Перечитывая документальные записи о классовых боях, участницей которых была Рейснер, позади блестящих, иногда нарядных образов и описаний гражданской войны мы угадываем другую, тоже значительную борьбу писателя с соблазнами «высокой эстетики», борьбу с преодолением внешнего блеска формы. Эта борьба длилась из года в год, пока эстетизм и словесная инструментовка, склонность к несколько нарядному образу не уступила сдержанному, скупому и значительному языку ее последних произведений. Биография писателя разворачивалась рядом с биографией бойца и революционера. Подходили творческая зрелость и мудрость и полное овладение высоким, значительным, собственным стилем. Но я пишу не критический очерк о писателе—это только записи об эпохе и ее людях. Если не задумавшись сказать, что Лариса Рейснер, человек и писатель, была всеми признана и любима при жизни, то это будет ложь, «святая ложь» о мертвом. В жизни и литературе она не задумываясь бросалась в схватку, она находила самые резкие, жгущие, иногда

несправедливые слова, которые выходили за пределы полемической атаки и спора. Чтобы разбить и унижить врага, она не останавливалась перед оскорблением и резким словом. Человек, игравший некоторую роль в Февральской революции, еще большую роль в контрреволюции и кончивший скамьей подсудимых в Верховном суде, рассердил ее высокомерием и развязностью, и в пылу спора она бросила ему жесточайшее обвинение, которое, конечно, никак не могла доказать. Кто-то сказал: «Знаете, это чересчур, Лариса Михайловна». — «Да? Но вы бы видели его рожу». «Валькирия» — сказал про нее один поэт и меланхолически вздохнул...

Умершие в юности или цветущей зрелости не стареют. Мы навсегда запомним хрустальную звонкость голоса Ларисы Рейснер, непотухающее пламя ее глаз. Пережившим ее современникам суждено скрещивать взгляды и видеть, как седина, вялость кожи и морщины отмечают каждый прожитый нами год. И горечь в том, что новое поколение будет помнить моих сверстников почти стариками, со старческой слабостью, робостью и усталостью.

В Киеве отряд черноморцев хоронил своих. Медленно плыли по Крещатику красные гробы. Ветер играл ленточками матросских бескозырок. Ветер играл ленточками мертвых; их сабли и фуражки лежали на красных гробах. Отряд привез своих мертвых в Киев. Отряд пересек с боями Донбасс с востока на запад. Мертвые бойцы сопутствовали живым. Это напомнило средние века, борьбу за «вольности» (fueros) Альбукирка с королем Кастилии дон Педро Первым, прозванным Жестоким. Альбукирк умер в походе, но его воины не предали его земле, они везли его с собой в походах, везли в гробу, осененном боевыми знаменами. Вождь как бы участвовал в боях. На военных советах от его имени говорил его мажордом, и, когда король был разбит, прах Альбукирка предали земле. Когда в Киеве хоронили черноморцев, было еще далеко до победы. Салют над братской могилой смешался с боевыми залпами на Подоле. Банда Зеленого ворвалась на ок-

раину Киева, ее прогнали отряды Чека, мобилизованные коммунисты и матросы Семена Лепетенко. На Сенной площади длинными кавалерийскими палашами рубили банду конные матросы. Лепетенко был тогда очень молод, румян и круглолиц. Он был одет по форме, тщательно, как на инспекторском смотре. После боя черноморцы пришли в кафе на Крещатике. Они оставляли карабины и винтовки в гардеробе как тросточки.

В то лето нас обучал военному делу бывший ефрейтор Сибирской стрелковой дивизии Степа Нечай. Военное обучение у Нечая проходил один наш товарищ, фамилия его была Шульман — Лазарь Шульман. Он заведывал библиотечной секцией и книжной базой политотдела. Пятнадцать часов в сутки он проводил в подвальном этаже в барской кухне, превращенной в книжный склад. Пожилой, грустный, близорукий еврей из Гомеля, он пришел к большевикам из Бунда и его смущало и пугало многое в ходе событий, в людях революции. Он сидел на разноцветных плитках, на кухонном полу, шелестел обложками брошюр и рассуждал: «Теория прибавочной ценности... Конечно, Степа Нечай не имеет понятия о теории прибавочной ценности. Но разве я знал до революции, из каких именно частей состоит трехлинейная винтовка? Ох, как они брошюруют книги!..» Он уходил последним из книжной базы и шел, гремя пыльными сапогами, через весь город в «общежитие спартаковцев», где мы жили. Он шел не глядя под ноги, не замечая прохожих. Кубический каравай черного хлеба (красноармейский паек), пачка газет стесняли его жесты, тем не менее он рассуждал, выразительно жестикулируя и обращаясь в пространство, а не к собеседнику: «Я имею полное уважение к товарищу Нечаяю. В старое время такие люди заполняли военные тюрьмы и дисциплинарные батальоны. Красавец-парень, просто геройский парень. Но вы видели у него в руках книгу или газету? Ничего подобного». Правду сказать, эти соображения в то время были у многих. Время разбило нас наголову. Нечай и Скориковы научились обращаться с бо-

лее сложными вещами, чем пулемет Максима и ручная граната «лимонка». Например Лепетенко, Семен Михайлович, командир черноморцев, потом начоперод Балтфлота, оказался прекрасным консулом СССР на Востоке. Итак, военный инструктор Нечай обучал нас военному делу. Это было, действительно, наглядное обучение. Вспотевший и охрипший, он собирал нас в кружок, выбирал отъявленного штатского и спрашивал очень тихо и выразительно: «Знаешь, как в старой армии учили?» — и вдруг оглушал страшным криком: «Стать смирна-а-а!.. Мать перемать!» Добродушное, привлекательное лицо искажалось, глаза наливались кровью: «Как стоишь, шляпа? Стать как следует, вольнопер, образованная...» Но морщины разглаживались, лицо Нечая принимало прежнее добродушное, привлекательное выражение и голос приобретал прежний бархатный тембр: «Вот как вас в старой армии учили». Этот человек однажды рассказал эпизод, случившийся на Кавказском фронте в империалистическую войну. Во время боя полурота оторвалась от полка и, проблуждав в горах, не принимала участия в бою. К вечеру, когда бой кончился, она нашла свою часть. Командир батальона, драчун и пьяница, выстроил полуроту на дистанцию в два шага и, переходя от солдата к солдату, избивал одного за другим. Так он дошел до Нечая. «Ваше высокородие, — сказал Нечай, — бейте, ваше высокородие, только бейте насмерть, а не убьете меня, я вас убью». Капитан помедлил, опустил руку и скомандовал: «Вольно. Все сволочи, один Нечай молодец». Может быть, это была солдатская легенда, но героем этой легенды по складу характера и какому-то особому чувству достоинства мог быть наш инструктор Нечай. Понятно, почему он внушал к себе почтительное уважение тихому и глубоко штатскому человеку Лазарю Шульману. И именно этому человеку, Лазарю Шульману, пришлось сыграть почти героическую роль в эпизоде, напоминающем по литературной композиции лермонтовского «Фаталиста». Некто Базилук, соратник Махно, в прошлом уголовный каторжник, одно время ко-

мандовавший какой-то частью под Бирзулой и подозреваемый в содействии бандам, приехал отдохнуть и развлечься в город. Была острая необходимость в его устранении из части, и вышло так, что философствующий Шульман и два молодых курсанта должны были исполнить эту операцию. Мы представляли себе, как выслушал этот приказ Шульман. Мы представляли себе его фигуру, очки, взъерошенную бороду, вытертый пиджак, полосатые брюки, заправленные в тяжелые солдатские сапоги. К этому надо прибавить не последний анекдотический штрих. За ремненным солдатским поясом у Шульмана почему-то торчал огромный смит-вессон—такие в старые времена полагались только лесным объездчикам. «Шумит, гремит конец Киева», Базилюк гуляет на свадьбе у родственника. Он был человек большой физической силы и аппетита. По уверениям свидетелей, он сначала выпил ведро водки и один съел окорок. Затем выстрелами в потолок он разогнал гостей и потребовал простоквашу, огурцов и женщину. Ему выдали сильно подвыпившую девицу, и он заперся с ней в комнате новобрачной. Двенадцать часов он оставался наедине с девицей, пока не отыскался его след и заведующему книжной базой товарищу Шульману не приказали арестовать Базилюка. Шульман постучался, Базилюк ответил выстрелом в дверь. Шульман ознакомился с условиями местности—этому его учил Нечай. В комнате, где заперся Базилюк, была вторая дверь. Она была загорожена шкафом. Шкаф отодвинули и при помощи ножиц подняли внутреннюю задвижку. Дверь открылась. Гремя тяжелыми сапогами, Шульман набежал на удивленного Базилюка, приставил огромный смит-вессон к его широкой волосатой груди и сказал: «Вы арестованы». Я думаю, что Базилюк многое видел в своей жизни, но самое удивительное, что ему довелось увидеть, был этот пожилой, близорукий, бородатый человек с огромным пистолетом. Курсанты отобрали у Базилюка оружие и гранаты. Он был ошарашен настолько, что дал себя посадить в автомобиль. Шульман спрятал за пояс оружие и

некоторое время меланхолически оглядывал обстановку — огурцы, простоквашу и девицу, равнодушно причесывающуюся у зеркала. (Базилюк подарил ей миллион керенками). Конец этой новеллы такой: Нечай, узнав об этой истории, с ласковым удивлением сказал о Шульмане: «Сволочь четырехглазая. . . А он может и контрика шлепнуть».

Мы шли по следам погрома. Вывороченные двери висели на сорванных петлях, двери, расколотые ударом обуха, ставни, разбитые прикладами. В комнатах, похожих на щели, невообразимый вихрь превратил в щебень, пепел и клочья бедную утварь нищих. Растерзанные женщины, сумасшедшие, изнасилованные, все еще кричали звериными голосами. Мертвые смотрели на нас тускло, скаля зубы в нечеловеческой улыбке. Клочья рыжих и черных волос были в их сведенных смертью пальцах. Лошади шарахались от трупов, трупы лежали поперек и вдоль узенькой, засыпанной стеклом и заметенной пухом, улицы. Мы шли по следам Симона Петлюры и его атамана Удовиченко; мы шли по трупам тысячи жертв, оставленных Симоном Петлюрой в этом городе. В шинке возле кладбища мы настигли двух пьяных из куреня сичевых стрельцов. В комнате был омерзительный запах блевотины, самогона и крови. В сенях лежал голый труп старика. Во рту у него торчал отрубленный половой орган. «А ну, сукины дети, стройся к расчету», — сказал Костик-Косточка, вежливый курсант из Харькова. Сичевик вышел, широко расставляя ноги, розовый от сна, с алыми, как у вурдалака, губами. Другой был с виду подросток, он плакал: «Дядя, я пастух, меня наблизовали. Я вовсе пастух». «Опросить население, — приказал наш командир, чех из военнопленных, — в случае подтвердится, привести в сознание и отпустить». Женщины кричали и плакали во дворе. «Куда ведешь?» — спросила сичевик. «В штаб, — ответил Косточка, — в тот самый штаб, к самому Духовину. А ну, становись». Дети шуршали в кустах у плетня. «Геть свитселя, хлопчики» — сказал сичевик. Он стоял у акации, упираясь локтем в ствол и поддерживал ладонью

голову. Арсенальный рабочий Юра поднял карабин, и дуло остановилось в воздухе.

Пыль скрипела у меня между зубами, визжал блок у колодца; расплескивалась вода и ржал жеребец командира. Мне хотелось пить, я пил прямо из ведра, вода лилась по подбородку за ворот, и выстрел прозвучал глухо, потому что у меня голова на три четверти ушла в ведро. Гимнастерка насквозь промокла, но было необыкновенно приятно от влажности и прохлады. «Другой не пастух, он сын пономаря, недоросток, своей волей пошел, сволочь. Стало быть распорядиться?» — «Распорядись», — сказал командир и, оттянув стремя, примерился сесть на коня. «So ist die Geschichte». Мы ехали рядом, и жеребец, услышав еще один выстрел, слабо повел ушами. Моя кляча уныло пылила по шоссе.

Вечером настигли сичевиков у хутора за полотном дороги. Хутор был, как остров в степи, остров пирамидальных тополей. Соломенные крыши торчали из орешника как семья грибов. Похоже, что здесь ночевал Хома Брут, когда шел из Киева. Был небольшой бой. Это было важно только потому, что это был первый настоящий бой в моей жизни. Никакая пацифистская проповедь не могла разрядить наши чувства и ружья в такие минуты. Мы были заряжены внутренней правотой, справедливостью нашего дела. Сто восемьдесят человек преследовали несколько сот хорошо вооруженных наемников. Мертвецы в разгромленном городе были дети нашей республики, сожженные скирды хлеба были хлебом республики. Бой, неохотно принятый петлюровцами, походил на ученье, на маневры, военную игру. Так его воспринимали впервые идущие в бой и горячились и теряли выдержку. Опытные удерживали неопытных и ретивых. Но очень скоро и мы, и враги поняли, что этот теплый вечер и мирно летающие, жужжащие жуки, и острый серп месяца над тополем, и жалостное мычание коровы, и лай собак, вечер, совершенно такой же, как десять, как сто прожитых вечеров, могут быть последними в нашей жизни.

Правду говорят, что нельзя привыкнуть к жалостному посвисту пуль и сердитому хлопанию пулемета. Страшно итти по полю и вдруг с флангов, точно над самым ухом, услышать прерывистое стрекотание. Надо честно сказать: хочется припасть живóтом к земле, уйти в землю, под землю, катиться, ползти на брюхе назад подальше от этого проклятого места. Но тут же разбирает стыд, стыд перед чехом-командиром, перед Костиком, перед арсенальцем Юрой, перед ста восьмьюдесятью стрелками отряда. Поэтому только ежишься и стоишь, вцепившись пальцами в ствол винтовки, пока вдруг сзади не услышишь свирепого окрика: «Ложись, сука!» Удивительнее всего то, что кричат боевой Косточка или Юра, уже видевшие виды в Донбассе и на Северном Кавказе в боях с волчанцами и марковцами. Оказывается, не стыдно ложиться, когда надо лежать, и вот, лежа в траве, в предвечерней росе, думаешь: где и в чем настоящая храбрость бойца? В конце концов решаешь, что итти в лоб на пулемет — противно человеческой природе, но есть случаи, когда тебя бросает вперед целесообразность, товарищеское чувство, наконец самый страх, желание скорее увидеть опасность и подавить в себе страх смерти. Впрочем невозможно представить себе смерть, когда четверть часа назад ел хрустящее, пахучее яблоко, когда крепко проспал ночь в стоге пахучего и колючего сена, когда утром купался в заросшей камышами неглубокой речке. Умереть в тот самый миг, когда так ощущаешь, так принимаешь всеми чувствами жизнь, когда тебе двадцать три года? . .

Мы лежали в траве, высокой, по пояс взрослому человеку, траве. Теплый воздух дымился над нами столбами мошканы. Шесть человек лежали у пулемета и слушали нарастающую и затихающую ружейную перестрелку. Маленькая, желтая, похожая на лисичку, собака пробежала по меже, увидела нас и остановилась. Кто-то тихо щелкнул языком, и она вильнула хвостом и легла на землю, взвизгивая, виляя хвостом, вызывая на игру. В эту минуту дернулся и, содрогаясь, загрохотал наш пулемет. Со-

бачка припала к земле и прижала уши. Зеленый зверь рычал и плевался огнем, и люди лежали близ него так, как будто держали его за ноги. Так запоминаешь всякие пустяки — перепуганную насмерть собаку, похожую на лисичку, простреленные и расколотые пулями глиняные горшки на частоколе. Это не беллетристические детали, не способ обойти главное, а именно то, что почему-то запомнилось из всего страшного вечера. Конец боя. Счастливая усталость. Не торопясь, по прямой шагает старая кляча и вдруг делает осторожный зигзаг. На пыльной дороге на боку, подложив кулак под подбородок, точно высматривая огни в ночи, лежит убитый. И тогда вдруг снова вспоминаешь о смерти и о том, что она могла притти к тебе, как пришла к нему в июльский вечер, когда столбами в поле дымилась мошкара, низко летали жуки и еще ниже, почти по земле, летали пули.

Прошло двенадцать лет. Вот я сижу за столом, в чистой и тихой комнате, в окно светит весеннее солнце. Здесь мой стол и книги, и постель, тишина и покой зрелости. Но как хочешь вернуть прошлое, это прошлое с стоверстными переходами, с боями и кровью, и ненавистью, и боевой дружбой, и молодостью — молодостью которой никак не вернешь из прошлого. Еще будут бои и боевая усталость, и боевые товарищи, но не будет той легкости, легкого сна, легкой любви и неутомимости. В ту ночь петлюровцы оторвались от нас и ушли к польской границе. Лазейка в польской границе гостеприимно открылась перед ними, псы возвращались на псарню. При случае их снова спустят с цепи и пустят по нашим следам. Двенадцать лет отделяют нас от этих дней, от этих могил, наших братских могил в стороне от шляха с веткой зелени, воткнутой в могильный холмик. Косточка, прозвище которого только дошло до меня, — он остался в моей памяти двадцатилетним, с золотым клоком из-под фуражки под розовым курсантским околышем. Косточка лежит у польской границы, в густом орешнике, с рассеченной пулей бровью. Великолепная и счастливая смерть. Запомни ее. Его убили в раз-

ведке, он упал с коня, и конь проташил его несколько шагов по росистой траве и остановился, потому что мертвые пальцы Косточки были опутаны ремнями поводьев, и мертвый всадник остановил коня. Четыре гранаты бросили в окно хаты, где засели петлюровцы, и Косточка был четырежды отомщен. Его долго поминали товарищи, и я вспомнил его в 1928 году в Париже, когда часовщик Шварцбард убил головного атамана Симона Петлюру.

Это был эпилог трагедии. Первый акт мы видели на Украине: он стоил жизни тысячам людей, убитых на берегах Днестра. Эпилог был на берегу Сены. Там убили убийцу.

Эвакуация. Красные звезды из фанеры покоробились от дождей и солнца, вылиняли кумачевые лозунги. Все это вряд ли мы замечали в обыкновенный день, но в день нашего отступления все казалось символом, жестоким напоминанием о том, что мы на исходе лета, что идет суровая осень и надо уходить, чтобы не погибнуть от заморозков. Остающиеся с подозрительным вниманием поглядывали на нас; они были предупредительно вежливы, и от этой вежливости хотелось ругаться и стрелять в наглухо запертые ворота, спущенные шторы. У красноармейского театра стоял комендант Степанченко, инвалид, немного истерик, как все инвалиды. Он со слезами выругался и выстрелил в щит, заклеенный афишами. Афиши красноармейского театра трепетали под легким ветром, как клочья рваных знамен. На этих бумажных знаменах были более чем невинные Кины и Уриэли Акосты, но красная звезда в заголовке превращала их в настоящее боевое знамя. Вот знакомый дом: здесь квартира либерала, сиониста, общественного деятеля. У него два сына, Бузя и Зяма, и дочь Бэба. Господин общественный деятель, как и все господа, своевременно уехал в Одессу и Румынию. Бузя и Зяма устроились клубными инструкторами в агитпросвете, Бэба играла на рояле в красноармейском кинотеатре. Они поили нас чаем с чудесным старорежимным вареньем. Они умели вставить неглупое слово в споры о пролеткульте и Мая-

ковском. В этот жестокий день мы шли по Крещатику, по мостовой, а не по тротуару. В нас еще не стреляли из окон (это началось днем позже). Мы шли на пароходную пристань; скромные узлы не очень обременяли нас. Весельчак извозчик прокатил мимо и ехидно спросил: «Ото вся ваша Украина от Подола до Демиевки». Инструкторы агитпросвета, Зяма и Бузя, стояли в воротах проходного двора. Двусмысленная улыбка блуждала по их лицам, Бэбочка смотрела поверх нас в безоблачное небо. Она всегда любила природу. Мы были еще молоды, и нам было обидно; мы круто свернули вниз мимо пролетарского сада, который через два дня стал снова купеческим. Впрочем не надолго. Буксиры уводили вверх по Днепру тяжелые баржи. Утром полупановские пушки громили Киев, и отряды Чека с боем отходили на Чернигов.

В этом была горечь поражения, но мы уже знали радость победы.

3. БАЛТИКА

Адмиралтейство. Вечер за круглым столом, в бывшей столовой вице-адмирала Эссена. Александр Александрович Блок, Аким Львович Вольтинский, Лариса Михайловна, Екатерина Александровна и Михаил Андреевич Рейснер. Это было в 1920 году. Прошло немного больше десятилетия, и все эти люди умерли. Между тем я помню северное петроградское лето, смолистый запах нагретых солнцем торцов, влажное дыхание Невы. Я помню круглую залу, вкус клюквенного варенья, одежду, голоса, лица собеседников. Они говорили о Карле Либкнехте (его хорошо знал Михаил Андреевич), о Скрыбине и Розанове. Они вспоминали мертвых так, как мы, живые, теперь вспоминаем их. Но я не хочу, чтобы читатель счел воспоминание о том вечере траурным воспоминанием. От него осталась память до конца дней. Это было в городе, который в то время назывался Петроград. Я не склонен канонизировать «старый Петербург», «Северную Пальмиру», выдуманную литературную реликвию. Желтизна правительственных зданий, правоведы в треуголках, парады на Марсовом поле — были длительной литературной модой. Еще и теперь старомодные дэнди, последние снобы эмиграции, пришептывают ямбом о «Санк-Петербурге». В действительности никогда не был так хорош Питер, как весной и летом 1920 года. В городе еще пахло порохом Октября, город — крепость революции с голодающим, но верным и мужественным рабочим гарнизоном. Дворцы в росчерках Октябрьских пуль. Палисандровый паркет дворцовых зал сохраняет следы солдатских сапог. Взятые под учреждения особняки оклеены воззваниями и плакатами. Пустынные, оставленные жильцами дома с провалами, вместо окон.

Но в этом нет запустения и тишины кладбища, это — боевое затишье. Передышка между только-что отбитой атакой Юденича и последней (в гражданскую войну) — кронштадтской — атакой. Я благодарил счастливую случайность — случай привел меня из Москвы в Ленинград.

В августе девятнадцатого года мы оставляли Украину. За нами, выдыхаясь, шли петлюровцы, и Киев, оставленный нами 31 августа 1919 года, на три дня был снова отнят у добровольцев отходившей с юга сорок четвертой дивизией. Это было предвестие победы. В Москве нас встретили негостеприимно. Все понимали, что объективные причины заставили нас уйти, но все же украинские командиры и политработники чувствовали себя смущенными. Некоторые упрекали и ссорились друг с другом в пути от Гомеля до Москвы, выискивали обидные напоминания и поругивали командование за то, что проглядело измену в штабах. Все это бывает после военной неудачи и забывается почти мгновенно, с первой удачей. В Мошковом переулке, у Мясницких ворот помещался ПУР, Политическое управление РККА, лабиринт бывших барских квартир, соединенных черными кухонными ходами. В одной квартире находилась редакционно-издательская часть. Здесь автор этих записей после длительного перерыва вспомнил об оставленной на время гражданской войны профессии литератора. В. П. Полонский рассеянно взглянул на тощую рукопись и на автора в полувоенной форме. До пояса автор был одет вполне прилично — на нем были «трофейные» (выданные трофейной комиссией) полосатые брюки и лакированные ботинки, выше пояса гимнастерка без единой пуговицы и кожаная куртка с разноцветными рукавами, серо-желтым и черным. Автор принес Вячеславу Павловичу Полонскому одноактную пьесу; она называлась «Последний день Парижской Коммуны». Ее напечатали в журнале «Красноармеец» и заиграли во всех красноармейских клубах и на всех фронтах. Это обстоятельство на время вернуло политработника к профессии литератора. Хотя судьба Деникина была predetermined, но впереди

были Врангель, польская кампания и Кронштадт, и мало ли что еще ждало впереди, но в эту голодную и жестокую зиму «Sturm und Drang», романтические театральные бури прошлых веков вдруг забушевали на сцене Камерного театра. Таиров поставил «Принцессу Брамбиллу», и люди, не задумывавшиеся над своей и чужой жизнью, вдруг задумались над судьбой Эрнста Теодора Амадея Гофмана. Их привлекли давно забытые бои между аббатом Кьяри и Гольдони, между аббатом Кьяри и последним арлекином Карло Гоцци. Так шла зима в трудах над текстом «Кармен» Мериме и в академических спорах о «созвучном эпохе» репертуаре. Медленно таяли снежные завалы на московских улицах, и в сугробах обнажились кости павших лошадей. По улицам возили на санях и в салазках муку, поэты в валенках грелись у «буржук». Но в один настоящий весенний день я увидел автомобиль и загорелого матроса у руля и рядом загорелую женщину. Я узнал Ларису Рейснер. Энзелийский, тропический загар Ларисы Михайловны выглядел неправдоподобно в начале московского лета. Мы встретились так, как если бы виделись вчера, но вчера для Ларисы Михайловны было взятие Энзели, волжско-каспийская флотилия и бегство англичан и персидский партизан Кучук-Хан. Из Энзели она привезла написанные рассказы об освободительном, национальном движении в Персии и воинствующую, страстную любовь к востоку, и жестокую энзелийскую лихорадку.

В Малом Знаменском переулке, позади музея изящных искусств, вы увидите в глубине двора фасад института Карла Маркса и Энгельса. В те времена здесь стоял небольшой двухэтажный особняк, бывший князей Долгоруких. Особняк строился в расчете на столетия, стены его имели толщину крепостных стен. Теперь старый особняк только составная часть института Маркса и Энгельса, он вошел в здание института, как входит старый кирпич в новую кирпичную кладку. Над низенькими сводчатыми комнатами семьи Рейснер было учреждение со звучным наименованием УЛИСО (Управление личного состава флота).

Как всегда, присутствие Ф. Ф. Раскольникова и Ларисы Михайловны вносило в дом атмосферу полевого штаба. Как всегда все лежало наружу — энзелийский изюм, персидские круглые шапки и английские карабины и фотографии. Я увидел фотографию Кучук-Хана, чернобородого, похожего на Ассаргадона, вооруженного до зубов и с двумя патронташами накрест. Я слушал энзелийские рассказы и представлял себе бирюзовые воды бухты и горцев, спускающихся с гор, чтобы увидеть боевые большевистские корабли. Революция впервые стучалась в ворота востока. Героический эпос звучал в ориентальных рассказах Ларисы Михайловны, в отрывистых репликах Раскольникова и в скупых образных речах рядовых бойцов, моряков флотилии. Военное ремесло, сосредоточенность мысли и напряжение воли, необходимые командующему, лишило Раскольникова его обычной экспрессии и экзальтации, но, я думаю, даже непроницаемые английские колониальные офицеры все же были в свое время удивлены, увидев в бинокль двадцативосьмилетнего красного адмирала. Они были бы еще больше удивлены, если бы знали, что адмирал провел несколько месяцев в лондонской тюрьме и именно там получил первые уроки английского языка. Теперь Раскольникова назначили командующим Балтийским флотом. Вокруг была жаркая атмосфера штаба, телефонные звонки, переговоры со штабом Коморси и штабом Балтфлота в Петрограде, непрерывающаяся связь с эшелонами на запасном пути Октябрьского вокзала, совещания с сотрудниками штаба, словом — непередаваемая, волнующая атмосфера ближнего тыла и фронта, которую, испытав однажды, никак не можешь забыть. Но пришел мой черед отвечать на вопрос «где вы? что вы?» Я ответил не без смущения. После Украины, опасных странствий и классовых бурь — литературные и театральные бури в тылу могли показаться окапыванием в тылу. Но не к чему длительно распространяться о причинах, вызвавших резкие изменения в жизни автора этих записей. Скажу кратко, что я ушел из Знаменского переулочка, унося в кармане восьмушку серой бу-

маги. На ней походная машинка флагсекретаря наскоро отпечатала: «РСФСР. Походный штаб командующего Волжско-каспийской флотилией. Предъявитель сего, т. Никулин Л. В., сотрудник Политотдела Балтийского флота, направляется к месту службы в г. Петроград. Печать и подпись. Старший флагсекретарь Комфлота Кириллов».

Так стремительно менялись судьбы людей в то боевое, жаркое время, и, однажды испытав боевую работу и страстия, уже нельзя было усидеть в библиотеке, макетной мастерской и за собственным письменным столом. Через одни сутки я стоял в Петрограде в некоторой нерешительности между аркой адмиралтейства и снятой с корабля броневой башней в Александровском сквере. Броневая башня напоминала о недавнем наступлении Юденича. Стоило подумать о специфических условиях работы в Балтийском флоте. Об этом задумались многие приехавшие в Петроград вместе с Ф. Ф. Раскольниковым. Личный состав Волжско-каспийской флотилии почти без перерыва находился в боевой обстановке — Балтийский флот сравнительно долго оставался на мирном положении в тылу. Я работал на Украине в Красной армии, в новой армии, целиком построенной на новом основании. Особые условия службы во флоте и особая политика формирования личного состава сохранила кадры старого флота. Все помнили и верили в революционный энтузиазм матросов. Каторжная царская служба, память о казненных матросах-революционерах, память об «Авроре» и октябрьских боях, тысячи отданных за революцию матросских жизней — создали утвердившийся в писанных и неписанных легендах образ «братишки». До сих пор я видел бывших матросов-командиров и рядовых бойцов на бронепоездах, в кавалерии, в особых отделах. Здесь я впервые увидел матросов у себя на кораблях и на берегу, в морских клубах и красных уголках. Это были моряки старших возрастов, большей частью пожилые, сдержанные, замкнутые люди, скорее специалисты флота, чем революционеры-матросы. Многие пережились в Петрограде, у других жены жили в деревне.

Степенные семейные люди, поддерживающие связь с деревней, погруженные в заботы о деревенских родных. Наконец я увидел новый тип матроса, так называемых «Иванморов», «Жоржиков», «клешников», о которых речь будет впереди. Но в массе, на ученьях, в колоннах на демонстрации моряки все же производили внушительное впечатление. В царское время во флотские экипажи подбирали рослых, крепко сложенных людей. В день Первого мая перед питерскими рабочими проходили грозные когорты испытанных в революционных боях моряков, монолитная масса, в которой тонули пришлые люди, Иванморы и Жоржики. На самом деле, в среде старых моряков было благополучно.

«В самом Балтфлоте много ли осталось настоящих моряков?.. Большинство, кроме Маркизовой лужи, ничего и не видели, моря не нюхали, только горланить умеют...» (Так писал Дыбенко в дни кронштадтского мятежа).

Петроград. 1920 год. Адмиралтейство. Неуловимый запах петровской эпохи в напоминающих дома саардамских негоциантов флигелях, соединяющих два крыла Адмиралтейства. Старое Адмиралтейство — некогда обнесенные земляным валом крепость и верфь, «адмиралтейской верфт» — перестало существовать: его перестроили еще при Александре первом. Исследователи старого Петербурга показывали место причала гребных судов. Там когда-то были вделаны тяжелые чугунные кольца. Это было еще до того, как «в гранит оделася Нева» и Адмиралтейство было не только канцелярией военного флота. В самом здании тяжеловесный громоздкий стиль, соединение петровской Голландии и цезаризма Николая первого являл себя в эмблемах царского флота. Переплетение якорей и ликторских топоров, путаница абордажных крючьев, носы римских трирем—всюду останавливали ваш взгляд на решетках лестниц, на тиснении кожаных диванов, на тяжеловесной дубовой мебели. Но скоро эту подавляющего сухопутного человека обстановку разрядили конторские столы, венские стулья, пишущие машинки и те-

лефонные аппараты. Все же Адмиралтейство было и осталось своеобразным крепостным городком, который в тревожные дни и ночи охраняем патрулями и пулеметами. Городок населяло множество морских учреждений. Почти полкилометра отделяло политотдел от штаба флота и морской музей от типографии «Морского Вестника». Семьи бывших курьеров, шоферов, писарей дореволюционных учреждений населяли подвалы и чердаки флигелей. В первый день мне запомнились не парадные лестницы и обширные залы заседаний, не министерская квартира вице-адмирала Эссена, а адмиральская кухня, монументальные кухонные плиты и медное сияние множества кастрюль, тазов и котлов. В тот же день я познакомился с Эссенем, но не вице-адмиралом и автором грандиозного плана минной обороны Финского залива, а старым большевиком — Эдуардом Эдуардовичем Эссенем. Тогда он был начальником политотдела военно-морских учебных заведений, но умер он в 1931 году на посту ректора Академии искусств. У этого профессионального революционера была вторая профессия; он был художником. В характере его и во внешности было что-то от Дон-Кихота Ламанчского, но это «что-то» соединялось с едким и опасным юмором. Такие свойства обеспечивают человеку достаточное количество врагов и много хороших друзей.

Невозможно такой день, день первого знакомства с революционным флотом, закончить обыкновенным образом, то-есть ночлегом на спартанском ложе в отеле Петросовета № 1 на Троицкой улице. Я провел ночь на яхте «Нева», бывшей яхте морского министра. Романтические чувства не умирали в моих сверстниках в том славном и счастливом возрасте. Мы, так же как комсомольцы нашего времени, с детства мечтали о синих матросских воротниках и дальнем плавании. Мы ощущали романтику морского ремесла, запах морского каната, сияние медных частей, сигнальные звонки и бой склянок на корабль — хотя бы на корабле, стоящем у стенки. Тогда можно было только мечтать о дальнем плавании: линейные корабли ходили из Крон-

штадта не дальше минных заграждений, а эскадренные миноносцы — не дальше Дворцового моста. Но уголь всегда пылал в топках, дымили трубы линкоров, орудия поворачивались в башнях, и — главное — на орудийный выстрел от Кронштадта был финский форт Ино и финские береговые батареи. День ото дня ожидали выступление британской эскадры, крейсировавшей в Балтийском море.

Яхта «Нева» — чистенький, кокетливый колесный пароход, пловучая министерская квартира. Спальня флаг-адъютантов, спальня и кабинет министра, кают-компания — все сохранилось в целости и говорило об увеселительной яхте сановника, не о военной яхте морского министра. Кстати сказать, сам морской министр, адмирал Григорович, в то время жил еще в Петрограде; ему разрешили уехать за границу в 1922 году. Таким образом последнему морскому министру, восьмидесятилетнему старцу суждено умереть в так называемом «русском доме» на Ривьере, в богадельне русских эмигрантов. Насколько я помню, моряки говорили о нем без злобы, с тем жестокими равнодушием, которое иногда хуже злобы. Я провел эту ночь в постели флаг-адъютанта. Вахтенный неторопливо прохаживался по палубе. Меланхолический бой склянок расплывался над Невой. Огни Васильевского острова мигали огням Дворцовой набережной, одна заря сменяла другую, и белая ночь лила молочное желтоватое сиянье в иллюминатор. Два голоса спорили над Невой о том, правильно или неправильно поступил комфлот, списав лишний комсостав с яхты. Я не мог заснуть, раздумывая о случайности, которая привела меня к машине с загорелым матросом у руля. Утром мы пили морковный чай с изюмом из тяжелых стаканов с гравированным на стекле андреевским флагом. Мы ели черный, колючий хлеб на тарелках сервиза, заказанного специально для адмиральских банкетов. Декоративное панно на стене кают-компания изображало визит русской эскадры в Шербург в девятых годах. Среди старых калошеобразных броненосцев можно было отыскать игрушечный кораблик, яхту «Нева».

Солнце било в открытые иллюминаторы, в каютах был сладковатый запах лимонного дерева мебели и обшивки. Солнце дробилось в хрустале люстр и стаканов. С палубы открывалась невозмутимая, неотразимая Нева, набережные и фасад адмиралтейства. Визг и всхлипывания сирены покрывал тяжелый, плывущий в воздухе, колокольный звон.

«Боже! Какие есть прекрасные должности и службы. Как они возвышают и услаждают душу!» — восклицали, в точности, цитируя Гоголя, чины адмиралтейства, созерцая черные орлы адмиральских погон. И мог ли какой-нибудь председатель по изучению боевых действий парусных судов в Крымскую кампанию предположить, что в его кабинете будет сидеть недоучившийся кандидат экономических наук и без особого трепета принимать дела чуть не целого департамента по политико-просветительной части? Мог ли он предположить, что при Балтийском флоте будет существовать целое министерство просвещения, комиссариат по политическому просвещению с отделами школьным, лекционным, библиотечным, отделами искусств и даже литературным? Политика, от которой так оберегали старую армию, стала краеугольным камнем, на котором строились новая армия и революционный флот. В то время армейские и флотские политпросветы часто действовали по революционному праву, по праву инициативы, иногда захватывая сферу действия гражданских отделов народного образования. Наши предшественники были в этом смысле широкие натуры. Мы нашли при политпросвете флота курсы театральных инструкторов, драматическую студию, школу балета и фотографию, затем нечто совершенно непонятное — «артистериумы», очевидно, род литературных студий. Кроме того, при политпросвете существовал театр с драматическими, оперными и балетными представлениями. И эти, как выражалась Лариса Рейснер, «флотские Афины» выросли на не слишком тучной ниве морского продовольственного пайка. Однако нельзя сказать, что все начинания политпросвета были вроде балетной школы и «артистериумов». Необозримое поле для

работы представлялось политическому работнику. Несколько десятков тысяч военных моряков и красноармейцев было сосредоточено в то время в петроградской, кронштадтской, ораниенбаумской и шлиссельбургской морских базах. Лекции, концерты, спектакли, доклады по десяти и двадцати в день во всех аудиториях, начиная с гарнизонного клуба в Кронбазе и кончая тесной норкой красного уголка на форту Риф или Передовом, и как возможно охватить эту сложную и громоздкую машину, аппарат политпросвета флота Балтийского моря? Три четверти работы может быть и пропадало впустую, но четверть научила красноармейцев и моряков политической грамоте (и просто грамоте) и расширило их культурный кругозор. Эта лучшая часть краснофлотцев училась и читала, записывалась на общеобразовательные курсы, на курсы иностранных языков, шла в партию и в партийные школы, писала корявым почерком статьи в «Красный Балтийский Флот». Именно эти люди в ночь на 2 марта 1921, когда Кронштадт оказался в руках мятежников, ушли по льду из крепости, чтобы вернуться с оружием в руках, в первых рядах атакующих мятежный Кронштадт. Мы работали в условиях жесточайшей бедности, иногда нуждаясь в лишнем карандаше или тетрадке, иногда при полном равнодушии снабжающих органов, иногда с ненадежным составом преподавателей и лекторов. Работали, изнемогая от физической усталости и ответственности, упираясь лбом в глупость, граничащую с предательством, в бюрократизм и явный саботаж. Когда я однажды жаловался на все эти трудности старому моряку-революционеру, он сказал: «Вот тебе мой сказ. Под Батайском заходит наша разведка в станицу и видит в окошко — сидят в избе десять кадетов и пьют молоко. А нас трое. Что делать, спрашивается? И говорит один товарищ: «действуем нахально, по-революционному». Мы — шасть в избу, взяли их, как говорится, на бас: «руки вверх!» И как наши наганчики заиграли! Вот тебе и весь сказ. Ты коммунар? Дей-

ствуи нахально, по-революционному». Разумеется, я при-
вожу этот рассказ в качестве бытового штриха, а не
рецепта. Не однажды я подумывал об уходе из флота,
но поразмыслив полагал, что на этом месте я не имел бо-
лее достойных предшественников и вряд ли получил бы
в это жаркое время более достойного преемника. Наконец
я думаю, что больших пробелов и ошибок не было в на-
шей работе. А изменить общее положение во флоте было
не в наших силах.

Все это были будни, боевые будни, но если выдавался
праздник, то это было невиданный, небывалый и незабы-
ваемый праздник на нашей улице.

В 1920 году в Петрограде (тогда еще Петрограде),
во дворце Урицкого, бывшем Таврическом, открывался
второй конгресс Коммунистического интернационала. Был
необычайно теплый и солнечный для северного лета день.
У Фондовой биржи, на Васильевском острове, происходила
репетиция «массового действия», мистерии, как назывался
грандиозный, феерический спектакль под открытым небом,
поставленный в честь открытия Конгресса. Тысячи оде-
тых в театральные костюмы и загримированных людей
маршировали, перебегали, образовывали скульптурные
группы на ступенях у колоннады Биржи. Групповоды про-
зительно свистели, режиссеры и их помощники кричали в ру-
поры и стреляли из пистолетов. С командного мостика сиг-
нализировал флагами главный режиссер. Было пестро, раз-
нообразно, величественно, но абсолютно непонятно. Лариса
Михайловна Рейснер, Мария Федоровна Андреева, худож-
ник Анненков и режиссер Радлов с трудов продвигались
в толпе бряцающих настоящими цепями рабов, гремящих
доспехами рыцарей и задыхающихся в мундирах гвардей-
цев. Несколько сотен медных труб соединенного военного
оркестра нестерпимо сияли на солнце. Если к этому приба-
вить радугу сигнальных флагов, миноносцев на Неве,
кавалерийские значки на пиках курсантов и сто тысяч лю-
дей на берегах Невы, ожидающих с утра начала спектакля,
то вы поймете, что такой день навсегда запоминается со-

временниками. Накануне, а может быть и в этот день, открылся Конгресс в бывшем Екатерининском зале дворца Урицкого.

Английские, немецкие, итальянские приветствия были не только декларативной, праздничной частью работ Конгресса. Республика Советов была во вражеском кольце, она отбивалась из последних сил, предоставленная самой себе. Произносимые на языках всего мира речи были символом единства, напоминали о солидарности пролетариев и о том, что Советская республика не одинока в последних решающих боях. На этой трибуне три, четыре года назад кувырчался Пуришкевич и злобствовал Марков Второй. Теперь здесь на пяти языках, на многих наречиях произносили слово «Интернационал», Интернационал — гимн трудящихся — заставил дрогнуть стеклянный колпак потолка. После первых речей и приветствий был перерыв. Делегаты и гости — три тысячи человек — разбрелись по Таврическому саду и вестибюлю дворца. Некоторых занимал исторический путь здания, путь от дворца «великолепного князя Тавриды» до Государственной думы и от Государственной думы — до дворца Урицкого. Другие просто курили и слушали шум улицы. По Шпалерной все еще двигались рабочие колонны и ползали алые полотнища и нестройно гремели оркестры. В саду было прохладно и тихо, и белая колоннада отсвечивала темно-зеленой листвой Таврического сада. Фотограф с треножником и аппаратом гонялся за делегатами. Я вдруг увидел моего товарища по Балтфлоту Терехова. Он находился в состоянии организационного восторга — вечером у него были доклады во всех клубах Петроморбазы. Он снимался с делегатами, пожимал руки и пробовал мимикой объяснить с итальянцами. Неизвестно почему он втащил меня в большую группу людей и скрылся бесследно. Трудно припомнить все ощущения и мысли, связанные с этой минутой, — прошло одиннадцать лет. Необычайное волнение вдруг охватило меня от солнца, зелени, дыхания Северного моря. Итальянская

речь звучала вокруг, музыка, шаг колонн, рожки автомобилей роem летали от Шпалерной. Теперь я стыжусь этой сентиментальности, но тогда волосы зашевелились у меня на голове от тысячи мыслей, от дня рождения Интернационала, от предчувствия победы, от голоса Ленина, который я сегодня слышал впервые, от Горького, которого я впервые увидел: книга моей эпохи открылась для меня на первой странице. Минуты прошли мимо меня шагом столетий. («Идут часы походкою столетий...» — сказал Блок).

День продолжал разворачиваться значительно и великолепно. Исторический день продолжал звучать как симфония даже в «Доме литераторов», тихой пристани будущих эмигрантов. Профессор Карсавин елеяно и келейно журчал о «вечности», «вечном и незыблемом». Стекла старенького особняка дрожали от разбега грузовиков, алые знамена питерских заводов насмешливо заглядывали в окно «Дома литераторов». Но бархатный профессорский баритон все еще пел виолончелью о «неприятности хаоса». И вдруг, в этот затхлый мирок, в тихую обитель старых эстетов и дев ворвался иронический кашель и смех Ларисы Рейснер. Она вошла среди сердитого шипения и негодующих возгласов, и ушла, вызывая стуча каблуками, на улицу, в разлив толпы, в неукротимый прибой флагов. Рычит сирена военного моряка Астафьева — и боевая, бывалая машина срывается и, приминая зеленую травку, пробивающуюся сквозь броню булыжника, выносит нас на Литейный. Между тем хаос и бессвязность массового действия у Биржи и ростральных колонн принимает характер революционной мистерии. Настоящие кузнецы бьют молотами по двадцати настоящим накопальням. Кузнецы расковыывают рабов; крестьяне и цеховые подмастерья обращают в бегство рыцарей, санкюлоты разбивают наголову королевских гвардейцев, красноармейцы и краснофлотцы гонят перед собой капиталистов, интервентов. Хлопают пулеметы, салютует отряд миноносцев и ослепляют прожектора. Артиллеристы стреляют

из настоящих пушек; настоящая боевая дымовая завеса, поднимаясь с земли, ширится, растет и как театральный занавес закрывает клубами черного, густого дыма фронтон Биржи, оживающих мертвецов, снимающих парики статистов. Опаловое небо белой ночи прорезает огненный смерч фейерверка. Рубиновые, изумрудные огни играют в небе. Пушки и рев пятисот труб покрывают гул двухсот тысяч человек на обоих берегах Невы, на лодках, на пристанях и мостах. Ленинград празднует боевое наступление Коммунистического Интернационала. В грохоте салюта, треске ракет угасал праздник, завтра будни, адмиралтейские и балтийские будни. Каждый день был невысказанно уплотнен и заполнен совещаниями, заседаниями, докладами — он начинался в девять утра сочинением очередной статьи для «Красного Балтийского флота» и кончался в полночь концертом-митингом, скажем, в клубе минной дивизии. Между Адмиралтейством и домом нужно было непременно побывать у Ларисы Михайловны. Там встречались неугомонные люди разных полюсов: поэты и политические комиссары, художники и боевые красные командиры. Лариса Рейснер работала в комнате окнами на Неву. «Штабной» беспорядок в комнате усиливался разбросанными на столе книгами и отдельными листами рукописей. Рукопись могла оказаться и фельетоном для «Красной газеты» и началом пьесы. Начало одной пьесы я слышал однажды. Действие происходило в городе, оставленном красными. Остро, очень хорошо был написан спор между героиней, женой коммуниста, и ее родителями, скандализованными тем, что их дочь хотела итти на фронт, следом за мужем. Пьесу слушала меланхолическая дама в трауре — машинистка Ларисы Михайловны. Большая, круглая, похожая на барабан, шляпа лежала у нее на коленях. С обиженным, всегда скептическим видом она барабанила по клавишам, и Михаил Андреевич Рейснер называл даму «заяц с барабаном». В ее лице были огорчение и обида, обида на обстоятельства, на революцию, которая заставила ее, вдову коперанга, стучать на машинке.

С каждым годом увеличивается интерес к той эпохе; биографические романы и повести грозят обрушиться на читателей. Есть уже первые зловещие образцы этой псевдо-биографической литературы. Один романист уделил значительное место прогулкам Ларисы Михайловны и Александра Блока верхом по островам. Не знаю, важны ли для исследователей литературы эти прогулки, но им уделены страницы своих дневников люди, близкие Блоку. Так, в одном дневнике явственно звучит обывательское брюзжание: «вот каким путем пытались втянуть поэта в революцию». Конечно, никакого хитро задуманного и разработанного плана вернуть Блока революции не было. Но было особое внимание к судьбе автора «Скифов», «Возмездия» и «Двенадцати». Надо знать, чем был Блок для нашего поколения. До революции он был без спору признан современниками первым лирическим поэтом. В самом начале революции поэмы Блока отразили ее смысл и стихию. Произведения этого периода до сих пор не утратили ни своего веса, ни значительности, потому что Блок правильно понял революцию как возмездие старому миру, как утверждение новой эпохи, эпохи Интернационала. Колебания Блока были колебаниями и провалами его поколения, но мы никогда не забывали, что в дореволюционных стихах Блока было трезвое и беспощадное разоблачение «предателей в жизни и дружбе», «пустых расточителей слов», сознание беспочвенности «пресыщенной интеллигенции» и вместе с тем предвидение социальной революции. Еще в 1908 году Блок заговорил о «свежем зрителе», о «новой живой и требовательной, дерзкой аудитории», о «массе рабочих и крестьян» (Статья о театре). Для поэта, который понимал старую Россию не как «единую и неделимую Русь», понимал «международный, разноплеменный», «весьма разнородный характер» страны,

где разноликие народы
из края в край, из дола в дол.

был естественным и последовательным призыв народов «на светлый братский пир» Интернационала. Я вспоминаю эти общезвестные вещи только для того, чтобы читатель мог вообразить, с какими чувствами мы увидели Блока в 1920 году. Блока, обреченного на борьбу с театральным интриганством, с закулисным политиканством первых актеров и режиссеров. Он расточал себя в пустых высокопарных спорах в Театральном отделе, он опустошал себя в борьбе за постановку «Розы и Креста», и ему не по силам были опытные фехтовальщики по части интриг. Кто мог поддержать Блока? Стареющие мистики и эстеты, ворчливые эпигоны, весь так называемый старый Петербург, не приемлющий революции? Петербург-Петроград, военных лет с игрой в салоны, с жалкой борьбой самолюбий, «ячеством», ложной значительностью мыслей и бурями в ложке воды? Однажды на спектакле в Большом драматическом театре в антракте я спросил Блока, что он думает о пьесе одного коммуниста, ученого, написанной в манере Вольтера (в ней были все элементы настоящей антирелигиозной пьесы). Он помолчал и сказал с неподвижным лицом и отсутствующим взглядом: «Я этого не понимаю». Между тем он был автор кошунственных для своего времени стихов о Прекрасной Даме и автор Незнакомки. Только позже, прочитав дневники Блока, я понял, что он не только «этого» не понимал, но вообще уже не понимал происходящего и окружающего; может быть, это было началом его смертельной болезни.

Как неестественно и даже поэтически надуманно мы узнали о смерти Блока!

Октябрь 1921 года, Афганистан, пятнадцатый день пути по Хезарийской дороге. Палящий полдень после прохладного горного утра. Путь от Кабула до Герата, перевал, на котором выдыхаются привычные афганские кони. На гребне перевала мы вдруг увидели европейца в пробковом шлеме. Он ехал в так называемом тахтараване, в носилках, укрепленных на спине двух запряженных гуськом лошадей. Он лежал под вылинявшим балдахином и сто-

нал в такт покачиваньям носилок. Мы встретились меж двух высоких, похожих на верблюжьей горбы, гор, закричали и сразу кинулись друг к другу. Это был кинооператор по фамилии Налетный, вечный спутник Волжско-каспийской флотилии в 1919 году, чудаковатый и болезненный человек. Он ехал в Кабул с двумястами мегров пленки и старинным киноаппаратом. Когда его вынули из носилок и поставили на ноги афганские солдаты, он заговорил без пауз, не останавливаясь ни на секунду: «Шестой день молчу—ни одного звука: я не могу по-афгански, а они по-русски. Скажите, нельзя ли добыть хоть одну бутылку красного вина. Честное слово — я болен. Простое тоническое средство — бутылка вина...» Это была сказочная наивность. На четыреста километров вокруг были горы, восемь, девять тысяч футов над уровнем моря; снег уже лежал в горных проходах и кочевники спускались в долины. В глинобитных раббатах (станциях-крепостях) мы с трудом находили пресные лепешки и воду. У фанатических сунитских племен на тысячу километров вокруг со дня распространения ислама не пахло алкоголем, а сумасшедший кинооператор требовал себе красного вина, как в дореволюционном железнодорожном буфете. Но мы устали от пятнадцати дней в седле и не смеялись. «Что нового в Питере?» Растирая затекшие колени, он ответил: «Ничего. Все в порядке. Только умер Блок».

Я не спеша собрал бесстрастно
Воспоминанья и дела,
И стало беспощадно ясно:
Жизнь прошумела и ушла.

Вокруг торжествовала тишина, горное безмолвие, горный хаос, дикая, нетронутая природа. «Умер Блок. Разве вам не передавали по радио сводки Роста?» Мы не разубеждали его. Пусть он в Кабуле узнает о том, что наша радиостанция убийственно работает летом и осенью. Брякнули колокольцы, сумасшедший оператор полез в тахтараван, и два афганских солдата пришпорили тощих коней. Он

привез в Кабул Ларисе Михайловне весть о смерти Блока. Теперь, перечитывая «Путешествие в Арзрум» и встречу с телом Грибоедова, я неизменно вспоминаю Хезарийские горы и первую весть о смерти Блока.

Многое открыли и объяснили дневники Блока. Несвоевременно писать о них сейчас объективно и откровенно — так, как они заслуживают, — но, возвращаясь к лету и осени 1920 года, надо сказать, что настроения Блока, его трагическое бытие были правильно угаданы Ларисой Рейснер. Во всяком случае она делала очень осторожные и умные попытки поставить Блока над его средой и окружением. Сейчас такие попытки называют «содействием перестройке». В этой, если хотите, борьбе за Блока грубее многих других, примитивнее и даже высокомернее был Сергей Городецкий, особенно когда он упрекал Блока за аполитичность. Тогда в прозрачных, отсутствующих глазах Блока появлялась тень усмешки.

Сухова и жестока была зима 1920—1921 года.

Что сегодня, гражданин, на обед
Прикреплялись, гражданин, или нет?
Я сегодня, гражданин, плохо спал.
Душу я на керосин обменял.

Испытания холодом и голодом озлобляли вчерашних попутчиков революции. Нередко выходило так, что наименее ценные и наиболее беспринципные устраивались комфортабельнее и удобнее искренних и верных людей, расгорячившихся от лишений и мнимой безнадежности положения. Многое зависело от резвости ног и умения приспособляться. Половина людей, где-то читавших лекции, где-то и что-то преподававших, всегда подумывала об отступлении на заранее подготовленные позиции. Когда вы требовали от людей ясных и точных продуманных ответов, ставящих человека по эту сторону баррикады, — они говорили с циничной откровенностью: «Ну, знаете, может быть, кто другой и может, ему нечего терять, а мне... Нет, уж простите». Менее откровенные были чувствительным политическим сей-

смографом, реагировавшим на редакционные тонкости оперативных сводок, на все сплетни и слухи. Иногда по тону собеседника вы могли узнать, как обстоят дела на врангелевском фронте и есть ли шансы на выступление поляков. Особенно много хлопот доставило таким людям Кронштадтское восстание. 16 марта, когда еще гудели орудия мятежников, один знакомый не ответил на мой поклон на Невском. А ровно через двадцать четыре часа он позвонил по телефону и умилился победе революции. Поэтому заслуживали известного уважения открытые, откровенные враги. Когда комиссия Политотдела проверяла списки граждан, состоящих на морском продовольственном пайке, она сняла со снабжения несколько литераторов, не только никогда не работавших в клубах и школах Балтийского флота, но политически чуждых этой работе. Среди них был Гумилев. Кстати сказать, он никогда не скрывал своих антисоветских убеждений. Только он один и принял это решение как должное, без возражений, просьб и апелляций. Остальные жаловались, угрожали, протестовали, и среди всех неопишущую энергию проявлял нынешний злостный эмигрант Волковысский. Мои сверстники, люди нашего поколения, прошедшие суровую школу революции, не могли без некоторой почтительности оглядываться на высокого, худого человека, на лысый, неправильный, удлинённой формы череп Гумилева. В Доме искусств на Мойке, где появлялся Гумилев, жил на положении скромного сотрудника издательства «Всемирная литература» бывший блестящий дипломат и светлейший князь Петр Петрович Волконский. Это был редкий образец германского светского воспитания, человек огромной, но бессмысленно собранной эрудиции, мастер блестящей болтовни, которая никак не позволяла узнать, кто твой собеседник: просвещеннейший европеец или невежда. Французы называют таких людей — «прокинутая библиотека». Этот человек, аристократ по происхождению, бывший помещик и миллионер, вряд ли был социально опасен в то время. В худшем случае он мыслил себя непризнанным Талейраном, спокойно ждал развития

событий, изредка позволяя себе критиковать действия Чичерина. В свое время Н. С. Гумилев, деклассированный дворянин, вольноопределяющийся из армейских гусар. Бряд ли мог быть допущен на порог особняка бывшего светлейшего и однако из чистого снобизма Гумилев считал нужным восстановить права и преимущества рождения светлейшего и тот государственный строй, с которым по существу он, Гумилев, ничем не был связан. В этом была узорь и наивность его позиции, трагикомичность позы контрреволюционного бретера и сноба. Когда в 1921 году группа работников уезжала с Раскольниковым в Афганистан, Гумилев сказал кому-то из окружающих: «Если дело идет о завоевании Индии, мое сердце и шпага с ними». Он как бы жил в павловской эпохе, в годы, когда по приказу сумасшедшего монарха старенький атаман Платов двинул донских казаков на Индию. Для Гумилева ничего не изменилось за сто с лишним лет; он жил в мире литературных реминисценций, романтических легенд, жил окруженный последними снобами, «обносившимися жуирами» из «Бродячей собаки», шел навстречу бессмысленному концу и встретил его с бессмысленным и ненужным мужеством.

В общем мы стояли в стороне от литературных бурь и не столько потому, что сами их сторонились, а потому, что классовая борьба, политические бои обостряли отношения между коммунистом, политическим работником и даже «сверхнейтральной», «лойяльной» средой «жрецов чистого искусства», «высоких литературных традиций». Дореволюционные журналисты и литераторы в большинстве представляли собой реакционную, обывательскую группу, безнадежно завязшую в мистицизме и интеллигентском эгоцентризме. Впоследствии они из внутренних эмигрантов обратились в белоэмигрантов в Берлине и Париже. Можно было по пальцам пересчитать людей, без оговорок и с оговорками сопутствовавших революции. Советская литература только что раскачивалась, приходила в движение и пока она не могла быть утилизирована в борьбе с вооруженной реакцией. Сила и значение Маяковского в то время заключа-

лись не столько в поэме «Сто пятьдесят миллионов», сколько в стихотворных лозунгах и подписях к плакатам. От дня ко дню, от месяца к месяцу будничной политической работой, сосредоточиванием всех интересов для одной цели — победы революции, непрерывным общением с массой мой сверстник из спутника революции превращался в ее участника. Он уже не ставил себя вне класса и партии, он переплавлялся в огне эпохи, он приобретал политическое чутье и темперамент и расставался со всеми сомнительными фетишами старой культуры. Нужно было крепко верить в целесообразность совершающегося, чтобы не впасть в уныние от вида парализованных фабрик и законсервированных заводов, фабрик-калек и заводов-мертвецов. Токари по металлу точили зажигалки, а циники мрачно острили, что к зажигалкам в сущности и свелась вся петроградская промышленность. Коммерческие суда, сданные на долговременное хранение, руины фабрик на Полюстровской набережной, паровозные кладбища, пустые эллинги наводили тоску на самых твердых оптимистов. И потому никак нельзя забыть первые субботники, предвестники будущей победы над разрухой. Пошлаки и циники пытались иронизировать над усилием тысячи людей поднять и разгрузить затонувшую баржу. Но солидарность людей, напрягающих силы в тылу в борьбе против разрухи, в то время как другие тысячи дрались на фронте, была высоким символом рабочего единства и залогом будущих побед. В стуке топоров, песнях рабочих, красноармейцев и моряков был высокий аллегорический смысл. Тысяча людей копошилась в ребрах затонувшей баржи. Медный Всадник, «в черных лаврах гигант на скале», указывал на этих людей, и невозможно было понять, что было в его жесте — изумление или желание укротить возмутившихся. Синяя Нева, золотая чешуя заката на реке, люди, облепившие баржу, как скелет кита, — запомнились, как гениально выполненная аллегорическая картина. На набережную, на руках женщин и мужчин поднялось черное тяжелое бревно и с громом ударились о гранит. Лариса Рейснер в изор-

ванном ситцевом платье поднялась на набережную. Мы прошли до Зимнего дворца. Деревья и кустарник вольно разрослись в бывшем царском садике. Лариса Михайловна очень любила освобожденную от монументальной ограды свободную и дикую зелень. «Небрежность планировки деревьев, фасад дворца, идиллическая тишина, покой и запустение — разве это не напоминает пейзаж Ренессанса, если хотите, Винченсу?..» — приподнято, точно декламируя, говорил Аким Волынский. — «Но небо, это северное небо — не небо Италии». Пейзаж был достоин пафоса и декламации А. Л. Волинского, но сам Волынский, конечно, не задумывался над тем, каким резким штрихом выглядел он сам на фоне пейзажа, когда внезапно появлялся на набережной. Несколько чопорный, в твердой круглой шляпе и черном пальто, философ на прогулке, он все же импонировал нашему не слишком уважающему авторитеты поколению. Автор замечательной монографии о Леонардо-да-Винчи, литератор, мужественно вынесший не одну литературную бурю, еврей, дерзавший писать о Достоевском и Пушкине на зло осатаневшим от такой дерзости реакционерам, он был, если хотите, даже трогателен в последнем периоде своей литературной биографии, когда доставлял удовольствие острякам глубокомысленными и высокопарными балетными рецензиями. Мы гуляли по набережной, и он с каким-то чувственным упоением говорил об одной юной ученице балета, Лидии Ивановой. Однажды он показал ее Ларисе Михайловне в той самой балетной школе, которая некогда неизвестно почему находилась в ведении Политотдела Балтфлота. Несмотря на страстные речи шефа школы Волинского, несмотря на цитаты из эллинских философов, автор этих записей передал школу в Отдел народного образования. Волынский говорил о Лидии Ивановой так, что у этой худенькой стройной девочки, вероятно, кружилась голова. Старушка — инспектриса школы — дремала в кресле над чулком. «И это тоже традиция балета, прекрасная традиция», — задыхаясь, произносил Волынский. Он —

старый безумец, просто старый безумец, — говорила потом Лариса Михайловна. — После Леонардо и книги о Достоевском самая черная, скверная мистика, и рядом с этим — балет, балетные феи. Но какой темперамент! Вы не знаете, почему его обижает Мария Федоровна?» (М. Ф. Андреева заведывала Театральным Отделом).

Лидия Иванова действительно была «юным гением». Она погибла в расцвете славы и мастерства, она утонула на взморье, и в Маркизовой луже исчезла последняя балетная фея, «наша Цукки, наша Фанни Эльслер», как говорил Вольтер. И он сам не на много времени пережил фею. В тот вечер они стояли рядом, фея, «старый безумец» и Лариса Михайловна.

Я возвращаюсь к «адмиралтейским» вечерам и спорам за круглым столом. Там, как писали в шуточной поэме, «над тарелкой Городецкий уже склонился, как цветок, соединив гражданский, детский, ученый и морской паек». Там возникали настоящие словесные поединки, и иногда они кончались бурными и короткими ссорами. Тогда Лариса Михайловна еще не утратила чрезмерной снисходительности, доверия и любопытства к людям. Это пришло только в результате нескольких ошутительных уроков жизни. И был однажды такой урок. В «Красной газете» она нашла очень бойкого и разговорчивого технического секретаря. Он рассказал о себе, что он бывший «меньшевик», что недавно освобожден из заключения и потому ведет такую незначительную работу. Он показался Ларисе Михайловне знающим и дельным человеком. «А что касается его меньшевизма, то, знаете, ему принесло пользу сидение в тюрьме». И она рекомендовала его на ответственную работу. Все же навели справки и оказалось, что товарищ Давидзон, действительно, был арестован и сидел, но не за меньшевизм, а за близость к семье Распутина. Это был тот самый легендарный питерский репортер, который ради самой точной и прямой информации о старце посватался к его дочери.

«Такой способный и, повидимому, дельный тип, и оказалсяось...»

Эти слова «и о-ка-за-лось...» она произносила, скандируя слоги, так что они в других подобных эпизодах звучали как лейтмотив. В Бухаре, например, отыскалась «умная, дельная пожилая женщина; ее бы хорошо взять с собой, хлопотать по хозяйству в походном штабе». «И оказалось...» что дельная пожилая женщина в свое время состояла при особе эмира Бухарского для особых поручений. Но вчерашнее разочарование сейчас же забывалось, начинались новые поиски человека и новые разочарования. Для Ларисы Рейснер неожиданные симпатии к людям возникали вследствие постоянных поисков незаметных, но замечательных людей, поисков незаметного героя, которого можно было бы поставить в первые ряды на полагающееся ему по праву место. Расставаться с мечтами, уничтожать иллюзии она научилась впоследствии.

Дни проходили в странствиях между Петроградом и Кронштадтом. От бывшего Николаевского моста ходили катера к острову Котлину, Кронкрепости, Кронштадту. Летом — освежающая непродолжительная прогулка. Зимой — сложное путешествие кружным путем по железной дороге до Ораниенбаума и по льду в санях или на ледакольном катере до Кронштадта. Летом катер пробегал мимо пустых эллингов судостроительного завода, мимо стоящих на мертвых якорях военных и торговых судов, мимо двух, спущенных на воду, но невооруженных, сверхдредноутов. Длинные высокие корпуса сверхдредноутов напоминали железный мол, и катер проходил под отвесной железной стеной, как юркий водяной жучок. Так они стояли годы, «Кинбурн» и «Бородино», два гигантских пловучих гроба, и в них были похоронены мечты царской России, мечты о морском могуществе. Катер входил в Морской канал, и образовательное путешествие продолжалось. У стенки на мертвых якорях стояли два корабля с высоко поднятыми бортами и наклонными трубами. Темносиние корпуса, золотые орлы на корме и золотые буквы «Штандарт» и «Полярная

звезда» открывались нам, как названия главы из эпохи последнего царствования. На бывшей императорской яхте «Штандарт» было запустение и разгром. Говорят, еще недавно, в хаосе обломков и мусора можно было отыскать фотографию «державного хозяина» яхты и датского короля или приглашительный билет офицерам яхты «Штандарт» от офицеров яхты «Гогенцоллерн». Не знаю, каким образом попала к нам книга почетных гостей яхты с автографами Георга пятого, принца Уэльского и Пуанкаре. Там всего удивительней была собственноручная подпись Вильгельма второго. «Wilhelm», затем, сложнейший, запутанный каллиграфический росчерк и внутри росчерка буквы «I. R.» — Imperator Rex. Сколько самовлюбленности, самообожания и тупости было в автографе экс-кайзера! Затем случайно удалось разыскать несколько сот радиogramм, собственноручно написанных Николаем вторым. На плотной упругой бумаге в заголовке напечатано: «Императорская яхта «Штандарт». Искровая станция» и дальше на всех бланках одно и то же, одним и тем же слабым, остреньким почерком: «Петергоф, ее императорскому величеству. Прошли Зунд. Погода прекрасная. Ники»; или: «Прошли Босфор. Погода прекрасная», или: «Двинск, камергеру Воронину. Благодарю двинских городских за выраженные чувства»; или: «Пью за здоровье лихих атаманцев лейб-казаков»; или: «Поздравляю лихих изюмских гусар полковым праздником»; или, наконец: «Петербург. Елагин дворец, председателю совета министров Столыпину. Вам разрешается прибыть в Петергоф такого-то числа, во столько-то часов». Несколько дней мы разбирали эти радиogramмы, написанные рукой самодержца, стандартные приветствия, благодарности, поздравления, сообщения о погоде, и вся тусклая, серенькая жизнь, бытие пехотного полковника встало перед нами в тусклых и серых словах, посланных в эфир искровой станцией яхты «Штандарт». Происходили величайшей важности события, подготавливалась мировая война, бастовали путиловцы, на Ленских приисках расстреливали рабочих, убивали премьер-министров.

а пехотный полковник Николай Романов интересовался погодой, благодарил городских, пил здоровье лихих донцов и неуклонно подвигался к историческому концу династии. Династия началась в Костромских лесах, в Ипатьевском монастыре, и пришла к неминуемому концу через три с лишним века, в доме екатеринбургского купца Ипатьева. Радиogramмы Николая второго лежали месяц или два на широком подоконнике в комнате флаг-секретаря; они перемешались со старыми сводками Роста, старыми номерами «Петроградской Правды»; о них забыли, и, наконец, затеявший генеральную чистку флаг-секретарь отправил автографы Николая второго в Морской музей или в архив.

Катер вышел из Морского канала, оставив вправо Лисий Нос. Остров Котлин всплывал впереди куполом кронштадтского морского собора в венке золотых якорей. Это ворота Санкт-Петербурга — Кронкрепость, морская крепость первого класса. Здесь, под куполом из золотых якорей устраивал общие исповеди отец Иоанн Кронштадтский, и сумасшедшие старухи публично каялись во всех смертных грехах. В 1917 году сюда со страхом и любопытством ездили эмиссары временного правительства и журналисты: красный Кронштадт им казался островом Хортицей, красным Запорожьем. В 1920 году здесь была строгая и зловещая тишина. На рейде, под углом в тридцать градусов лежал затопленный английский минными катерами крейсер «Память Азова». Затонувшие баржи догнивали в вырубленных в граните каналах, и в стеклянных водах отражались горбатые мосты, замыкая в воде полный овал. Военный крепостной город, русская казарменная Голландия, Кронштадт был весь как палуба корабля, и если бы не пагаузы, склады и казармы — можно было думать, что однажды гранитный остров снимется с якоря и выйдет в открытое море. Краснофлотец призыва 1930 года справедливо считает двадцатый год почтенной стариной, эпоха же царского Кронштадта — Коронного города — для него чуть не доисторическая эпоха. Я был в Кронштадте, когда

каждый третий матрос помнил коменданта крепости, контр-адмирала Вирена. Не раз я бродил по Кронштадту со старыми моряками; они были живой книгой, летописью острова Котлина; им кронштадтская учеба и каждый камень стоили каторжного пота и крови.

«Поживи, браток, на корабле в прежнее время. Кубрик — железный гроб. Сушат тебя жар от топки и скука. Спустят на берег — нет покою от Вирена, каторга, остров Сахалин. Вот идешь, браток, по Якорной, заглядедся и ступил ненароком на газон. Идешь себе дальше — беды не чуешь, а сука Вирен сидит в комендантском у окошка с биноклем и на пять верст под землей и над землей видит. Догоняет тебя адъютант: «Доложи по начальству, чтоб тебя посадили на семь суток. Будешь знать, как по газону ходить».

«... падкий был на издевки, гад. В воскресенье идешь со своей Маруськой, белый день, любовь не картошка, а он на паре вороных и обогнал и... стоп! Во фрунт стал как полагается, каблук о каблук — аж искры. Что ты скажешь! Прикажет штаны отстегнуть середь улицы, середь бела дня. Полагалось иметь на перемычке штанов написанную фамилию. А нет фамилии, налево-кругом арш — на семь суток».

«... вот — улица. Здесь были полтенишные дома, особые для солдат и матросов. У каждого свое прозвание: «Трансвааль», «Версаль», «Золотой павильон», а один назывался «Мухина батарея». В воскресенье и праздник — держись: смертная драка у солдат с матросами. Между прочим держали в Кронштадте два эскадрона драгун — управа на матросов».

«... на Якорной убивали Вирена. Между прочим писали в семнадцатом году, будто мы всех офицеров под машинку. Мы в каждом офицере разбирались. На кого была обида — тех не пожалели. Всех не обжалешь. А Вирен, как жил, так цепной собакой и помер. Не сдрейфил старик. Вспоминаешь старое время. Эх, мама моя! Зима наша мачеха. Летние месяцы теперь — прямо рай.

В сухопутном манеже — концерт, в морском собрании — чего душа твоя хочет, опера и балет. Опять — кино. А зимой как есть остров Сахалин. Метель панихиды играет, на фортах — тоска смертная».

«... что поделаешь — сторожим Питер».

После Кронштадта и фортов мы понимали смысл приказов командования: сосредоточить всю культурную работу в Кронштадте, напрячь все силы для того, чтобы моряки и гарнизон не чувствовали себя забытыми на «чортовом острове» Котлине и на осколках гранита — морских фортах. Но едва ли можно было исполнить это приказание — непосредственную работу в Кронштадте вел политотдел Кронбазы, за нами оставалось право инструктирования, и часто оно выражалось только в многословных и благожелательных беседах. В Петрограде еще действовала магическая сила продовольственного пайка, но как заставишь лектора или актера поехать в Кронштадт зимой? И все же уговорами и призывами к чувству долга мы добились некоторого оживления в культурной работе в Кронштадте. Положение с продовольствием во флоте было не лучше, чем в армии и у гражданского населения. Летом было туго с хлебом в Кронштадте, но со зрелищами стало благополучнее. В бывшем Морском собрании танцевала Люком, в сухопутном манеже играли александринцы, а Шаляпин предлагал «спеть у матросов в Кронштадте». Правда, он требовал за этот концерт астрономическую для того времени цифру и в придачу, кажется, десять бутылок коньяку. В самом же Кронштадте именно в те дни уже пахло «Кронштадтом» в кавычках. Я помню, как линейный корабль «Севастополь», два года стоявший у стенки в Петроградском порту, осенью увели в Кронштадт. Это стоило больших усилий и вызвало в свое время бурю споров среди специалистов; опасались, что линейный корабль с большой осадкой не сможет пройти в канале (углубительные работы не производились несколько лет). Команда «Севастополя» тоже имела причины быть недовольной переводом в Кронштадт. Матросы устроились по-семейному в своих

квартирах: им, разумеется, не хотелось переезжать на «Сахалин», и позже недовольство матросов «Севастополя» сыграло свою роль в кронштадтском мятеже.

Брожение на «Севастополе», сведения, поступавшие с кораблей, стоящих в Петрограде, вызывали естественную тревогу. Политическое управление начало усиленную кампанию за поднятие дисциплины. Политпросвету спешно поручили организацию «суда над дисциплинированным военным моряком». Суд был инсценирован при помощи экспертов из морского революционного трибунала. В общем это было наивное театрализованное действо. Обвинителями дисциплинированного моряка были поп, белогвардеец, спекулянт и «клешник», — прямая противоположность дисциплинированному моряку. Защищали моряка: рабочий, бедняк-крестьянин и работница. Суд кончался оправдательным приговором дисциплинированному моряку и постановлением взять под стражу его обвинителей. Любопытно, что роль спекулянта по письменному предписанию политуправления играл моряк-коммунист, впоследствии вместе с Чухновским и Самойловичем заслуживший всемирную известность походом ледокола «Красина». Он подходил к этой роли по внешним данным. «Клешника» играл актер-профессионал. Он потешал тысячи матросов в Петрограде и Кронштадте, но теперь я думаю, что некоторая часть зрителей относилась с полным сочувствием к его хулиганским выходкам.

Инсценировка суда над «дисциплинированным» матросом кончилась поздней ночью. Катер отходил в шесть утра, и мы провели ночь в пустом и полутемном здании бывшего Морского собрания. Огромные, почерневшие батальные холсты изображали морские баталии прошлого века. Здесь славно пили и ели грозные адмиралы, герои Станюковича, хрипуны и ворчуны, командиры корветов. В шкафах, среди рухляди, среди разноцветного тряпья сигнальных флагов, лежали отпечатанные на атласе золотыми буквами меню торжественного обеда бывших воспитанников Морского корпуса выпуска 1887 года.

Нестерпимый холод и мрак нагоняли тоску. Рассвет, наконец, засинел в окне, и мы ушли с удовольствием из этого невеселого, пропахшего пылью и тленом, здания.

Мы встречали Октябрь. Три года прошло со дня Октябрьской революции. Я полагаю, в то время было не слишком много людей, веривших в то, что они доживут до тринадцатого и четырнадцатого года революции. И не оттого, что им нехватало оптимизма, а просто потому, что были тиф и фронт. Три года революции для того времени была значительная цифра. Поэтому цифру «3», третий Октябрь встретили с энтузиазмом. 1920 год. Врангель на юге, ощерившая зубы белая Польша на западе, внутренние фронты, голод, разруха — и все же мы вступаем в четвертый год существования власти Советов. Потому решили отпраздновать Октябрь щедро и широко, с карнавальной пышностью. Не помню, кому пришлось в голову поставить на площади Урицкого, на бывшей Дворцовой площади, массовую социальную феерию «Взятие Зимнего дворца» и в тот же день на собственном его величества Николая I подъезде соорудили вывеску «Штаб по проведению октябрьских торжеств». Штаб действовал совершенно по-военному, он мобилизовал режиссеров и художников, актеров и воинские части. Внутри арки Главного штаба построили сцену, декорации таких размеров, каких, вероятно, не было никогда. Затем построили трибуны по правую и по левую руку колоссальной сцены, и начали репетиции. Они происходили ночью в Гербовом зале Зимнего дворца. Полторы тысячи актеров и статистов, потрясая оружием, бегали и кричали и безумствовали в огромном оранжево-черном Гербовом зале. Отряд режиссеров пытался внести некоторую организованность в хаос, но все это было началом, цветочками, потому что на площади участвующих должно было быть не менее десяти тысяч. Три ночи мы провели в Зимнем дворце и сделали не один и не десять километров по скудно освещенным переходам и коридорам дворца. Со времени 7 ноября 1917 года, я полагаю, дворец не видел таких бурных но-

чей. Мы спали не раздеваясь в шинелях и сапогах на обитых малиновым штофом золоченных диванах. Мы резали хлеб на малахитовых столах, спорили и ругались, не избегая самых крепких слов в собственных его величества Александра второго покоях. Творческий азарт художников и административный восторг организаторов доходили до экстаза. Некто Темкин, пианист и работник политотдела окружного военкомата, доходил уже до того, что предлагал разрушить двадцать, тридцать домов на Гороховой улице, чтобы открыть вид на иллюминированное Адмиралтейство со стороны Детскосельского вокзала. До разрушения тридцати домов не дошло, но некто Темкин утверждал—не дошло только потому, что до праздника осталось мало времени. Я говорю «некто», потому что этот восторженный организатор и энтузиаст-разрушитель ровно через пять лет очутился в Нью-Йорке и там женился на престарелой богатой американке, антрепренерше балетных ансамблей. Престарелая супруга и теперь оплачивает его фраки и галстуки и концерты, которые раз в год дает в здании Большой оперы ее счастливый супруг. Так, в конце концов, люди находят себя.

Возвращаясь к «взятию Зимнего дворца», нужно добавить, что исторический крейсер «Аврора» прибыл в ту ночь из Кронштадта и стал на якорь у Николаевского моста. Все благоприятствовало зрелищу за исключением погоды. Только энергия штаба могла заставить отважных актрис появиться на самой большой в мире сцене в открытых бальных платьях. Петроградская осень приготовила самую отвратительную погоду. Снег с дождем в полчаса покончили с выкрашенным охрой декорациями. Исполнителей-актеров, статистов, моряков, красноармейцев — оказалось вдвое больше, чем зрителей. Однако, несмотря на погоду, Зимний дворец был взят с редким энтузиазмом. Погас свет на площади, осветились окна дворца и в освещенных окнах как на транспаранте появились силуэты дерущихся людей. «Аврора» выстрелила положенное число раз, затрещали пулеметы,

вспыхнула алая звезда на крыше дворца, и вокруг звезды засияли радужным нимбом прожектора. Затем площадь сразу опустела. Пронизывающий ветер и снег кружили по Невскому. Была фантазмагорическая петроградская ночь. «... Все окинулось каким-то туманом, тротуар несся под ним, кареты со скачущими лошадьми казались недвижимы, мост растягивался и ломался в своей арке, дом стрял крышей вниз и алебарда часового, вместе с золотыми словами вывески и нарисованными ножницами, блестела, казалось, на самой реснице его глаз». Действительно, все было как в «Невском проспекте» (за исключением карет, лошадей и, конечно, алебарды), и Ю. Анненков, автор декораций ко «Взятию Зимнего дворца», шел рядом и мечтал о том, где можно воспроизвести рисунок замечательного спектакля, в котором участвующих было в ту ночь больше, чем зрителей. Рисунок (все, что осталось от той ночи) был воспроизведен в единственном в ту пору литературно-художественном журнале «Красный милиционер». Да, журнал именно так и назывался, в нем не было ничего имеющего прямого отношения к милиции и городской охране. Он печатался на превосходной бумаге, в нем печатались Шкловский и некоторые формалисты, его иллюстрировал Анненков. Неожиданные роскошества исходили от лирической и широкой природы одного товарища из отдела управления Петросовета. Бывший студент из Тулузы, читатель и почитатель Ремизова, Сологуба и Белого, он имел большое тяготение к свободным искусствам и проявлял это во всех подчиненных ему инстанциях. Что же, это было не плохо, но надо иметь в виду, что в то самое время, когда, скажем, милиционерши обучались пластике, на Невском лежали неубранные павшие лошади. Это именно он затеял постройку крематория в Петрограде и был ярким пропагандистом «огненного погребения», и радовал глаз посетителей его учреждения плакатами: «каждый может быть сожжен»... Чудак и фантазер проявлял неиссякаемую энергию: сегодня открывал музей петроградской преступности, завтра — школу ритма при клубе ГОРОХР (городская охрана) или присутствие-

вал при «показательном трупосожигании». Но этот задор молодости был простителен: революционная власть родилась три года назад и из детства переходила в отрочество. Детищем этого неутомимого товарища был «Отель Петровета номер первый», именно отель, а не гостиница или общежитие. Днем дом вымирал, почти все его обитатели приходили только на ночлег. В пятом этаже жил одержимый поэт Василий Князев, в первом — тишайший Ремизов. В третьем — тихая, задумчивая девушка, следователь уголовного розыска. По всем этажам странствовали полуночники в поисках споров, чаю с клюквой и в лучшем случае картофеля. Неожиданно в одну январскую ночь пришел Скориков, комиссар красногвардейского отряда, сторож советской границы у Брянска в 1918 году. Он постарел и похудел, но длинная кавалерийская шинель и красноармейский шлем изменили его облик. Теперь это был прирожденный военный, красный кавалерист, командир полка, сжившийся со своим снаряжением, ремнями, казачьей дареной шашкой; ничего не осталось от глубоко штатского машиниста добровольного флота. Он приехал с южного фронта повидать жену, питерскую студентку. Мы слушали его рассказы. Раньше мы внутренне ощущали связь с Красной армией, добывающей Врангеля, теснящей поляков, теперь Скориков был живой связью. Он рассказывал о летних и весенних месяцах 1920 года, о ночном кавалерийском бое в вишневом саду, осыпанном розовым цветом под серебряным полнолунием. В эту тихую украинскую ночь в смертельной ненависти рубились красные и белые всадники и грызли их кони. Он сознался, что хотел написать рассказ об этом ночном бое, об ударах шашек, о револьверных выстрелах, распугавших соловьев. «Почему ж не написал?» — «Не вышло — порвал». Тогда некогда было звать в литературу, учить и поучать. Скориков простился, и трудно сказать, где теперь этот человек, — в кубанских колхозах или в геологических разведках у Ангары; или он не пережил еще одной весенней ночи, лунной ночи у Мелитополя? Приходили люди, пили с нами

кирпичный чай, сли печеный картофель и уходили навсегда, и кто знает, где их могилы, — в черноземе Украины, в известковом грунте Черноморья или под кронштадским льдом. Ветер трепал на стенах домов трагические заголовки «Правды» о выступлении поляков. Мобилизованные товарищи выслушали краткую речь с балкона районного комитета, взяли по сотне папирос «Зефир» в Петрокоммуне и ушли на вокзал. Люди в ушастых шапках смотрели им вслед — не было деления на фронтовиков и тыловых. Нельзя было угадать, где будет фронт завтра; и в начале марта он внезапно оказался под Петроградом, в Ораниенбауме и Сестрорецке.

Еще скрежещет старый мир,
И мать еще над сыном плачет,
И обносившийся жуир
Еще последний смокинг прячет...

Последние смокинги еще не стали добычей моли. Онигодились жуирам однажды на маскараде в «Доме искусства» и еще один раз на юбилее Большого драматического театра. Жуиры жонглировали парадоксами, загадочно улыбались дамы, секретничали молодежь старички, и было все, как бывало, когда «Дом искусств» был еще особняком Елисеева, а Большой драматический — театром Суворина. Но на Невском жуиров и дам, и старичков встречала метель двадцатого — двадцать первого года, и ветер трепал трагические заголовки газет, воззваний и оперативных сводок.

Читателю может показаться странным, что в моих записях нет ни слова о словесных битвах, поединках и диспутах в доме литераторов, о философских диспутах в Вольфиле — вольно-философской ассоциации, где высокие умы того времени, будущие эмигранты, профессора Карсавин и Лосский спорили о Софии-Премудрости. Я могу ответить, что мое бытие, бытие многих сверстников, протекало в другом русле. Плохо ли, хорошо ли — мы занимались

конкретным делом. Правда, мы чувствовали себя свободнее и проще в рабочих и армейских клубах, на рабочих и краснофлотских конференциях, чем в столовой «Дома искусства» и на диспутах в Вольфиле. Этой же зимой, не помню в каком месяце, приезжал Уэльс. Его принимали с возможной торжественностью в «Доме искусства». Отправляясь в Петроград, Уэльс прорывал блокаду, реальную минную и пушечную блокаду капиталистических стран; он был нейтральным гостем в осажденном городе и стране и в течение нескольких дней — наблюдателем войны русского пролетариата против мировых капиталистических держав. Прозаики и поэты произносили сдержанные, полные достоинства речи, никаких претензий (как полагается на инспекторском смотре) не заявляли, и только Амфитеатров вышел из строя и подал жалобу по поводу того, что у него под сюртуком не свежее белье.

Однако, нужно признать, что власть обходилась даже с такими, как Амфитеатров, гуманно до тех пор, пока они не принимали оперативного участия в заговорах. Случалось, что «теоретики и литераторы» открыто и непринужденно проповедывали меньшевизм, писали мемуары, обличали и пророчествовали в то самое время, когда врангелевцы не брали пленных, красноармейцев ставили под пулемет и командовали: «комиссары и командиры, выходи». Между тем в обозе в белом тылу, на всякий случай имелись единомышленники «теоретиков», прекраснодушные учредиловцы. Не знаю, стоит ли вспоминать об этих людях или называть их по именам, когда политические некрологи в виде недавнего приговора суда или покаянной речи, или письма в редакцию завершили их политическую карьеру.

Да, многое показалось бы странным моему современнику, призывнику 1931 года, если бы в десятилетнем возрасте он умел разбираться в событиях 1920 года. Ему показалось бы странным выступление делегата на конференции работников искусств, протестовавшего против постановки антирелигиозных пьес, и другого делегата, проте-

стававшего против посылки работников просвещения на работу в Кронштадт. А мы иногда должны были сдержанно, соблюдая политический такт, дискутировать по таким вопросам и проблемам, которые в наше время уже не вопрос и не проблема.

Но я опережаю события.

Я ехал в Москву в поезде петроградских делегатов, отправляющихся на восьмой Съезд советов. Это было интересное и, к сожалению, короткое путешествие. Ночью никто не спал, и трудно сказать, о чем только ни говорили в нашем вагоне: о тепловозе Махонина, о стратегии генерала Вейгана в польскую кампанию, о расхлябанности аппарата Петрокоммуны, о Шаляпине в роли «Еремки», о мировой революции, о стихах Маяковского. Громов, тогда начальник политотдела Кронбазы, говорил о междупланетных сообщениях. Из соседнего вагона в превосходном настроении пришла Лариса Рейснер. Она только-что вылила на голову Зорину стакан воды (это надо понимать в буквальном смысле) в отместку за шутку, которая ей показалась обидной.

Я переживал некоторое волнение, потому что вез в Москву свою пьесу. О ней следует вспомнить только по следующему поводу. Это объемистое сочинение было целиком написано на оборотной стороне аннулированных нефтяных облигаций. Я читал эту пьесу совету театра революционной сатиры, и Демьян Бедный обратил внимание на это обстоятельство. В это время была острая нужда в бумаге, и нам выдали эту некогда ценную бумагу. Пьеса, откровенно сказать, была плохая, и она сгорела в железной печке моей комнаты. Вместе с ней сгорели облигации Лианозовых, Джамгаровых, Ассадулаевых. Как хотите, в этом был некоторый отзвук революционных бурь, которые закалили наше поколение.

Поезд во-время пришел в Москву, на наш взгляд обыкновенный поезд и в обыкновенное время. Москва—все та же голодная и суровая столица эпохи военного коммунизма. Всю ночь мы занимались выставкой Съезда со-

ветов и витриной Балтийского флота. «Ночь, как ночь и улица пустынна...» Именно в эти ночи и дни Ленин показал делегатам карту электрификации, и электрические лампочки, всыхнувшие на схеме, показались многим прекрасной и несбыточной мечтой и сном: «сейчас все проснутся, и вокруг будет та же голодная Москва, сугробы, скелеты лошадей, тиф и фронт». Между тем это был не сон, а близкое будущее, самое реальное и самое чудесное будущее страны Советов. Как уплотнен был событиями этот год! Гибель Врангеля, польская кампания, Рижский мир, восстание в Кронштадте — все это уложилось в десять-двенадцать месяцев. Трудно было разобраться в событиях и отдать предпочтение одному перед другим. У Ларисы Рейснер было острое чутье политического деятеля и публициста и темперамент большого журналиста. После болезни, жесточайших припадков малярии, она немедля уезжала за границу на Рижскую конференцию. Она понимала историческое значение мирного соглашения Советской республики и Польши. Не для фельетонов в «Красной газете» она отправлялась на конференцию, но для более важной, рассчитанной на дальний прицел, литературно-исторической работы в будущем. Ее биография дала ей в руки драгоценные темы, и если бы творческая жизнь Ларисы Рейснер не была прервана почти в самом начале, действующими лицами ее очерков были бы не только Каховский и Трубецкой, а Домбский, председатель польской делегации, и Иоффе, председатель советской, и еще десятки людей, рабочих и министров, солдат и генералов, матросов и адмиралов. Она всех их видела в своих странствиях и рассказывала о них и показывала их так, что они вставали перед ее собеседником, как живые. Именно так она рассказывала о польских офицерах, еще не опомнившихся от «чуда на Висле», об обстановке работ конференции. Эти рассказы были настолько отчетливы и рельефны, что даже простая стенографическая запись их показала бы законченным художественным очерком, отделанным в мелких деталях. Однако, очень немного из того.

что она рассказывала, я увидел впоследствии напечатанным. Повидимому, для нее был очень сложен, труден и ответственен переход от живого рассказа к созданию художественного очерка.

В моих записях не вполне точно соблюдается хронологический порядок. Однако, насколько я помню, «адмиралтейские вечера» приходили к концу. В Петрограде, на заводах, в армии и во флоте началась широкая дискуссия о задачах профессиональных союзов. Теперь этот период времени, предшествовавший «волынке» и «Кронштадту», достаточно изучен и имеет, пожалуй, только исторически-поучительное значение. Но в то время мы переживали дискуссию, «роскошь», которую позволила себе партия на историческом перевале, с мукой, болью и страхом. Нельзя было закрывать глаза перед опасной и враждебной стихией, которую развязала дискуссия во флоте.

Командование флотом приняло участие в дискуссии. Оно занимало явно антиленинскую позицию. С обеих сторон была обнаружена излишняя резкость и страстность, особенно опасная в непосредственной близости порохового погреба, то-есть Кронштадта. Для беспартийных моряков дискуссия тоже явилась серьезным испытанием; худшие элементы приняли ее как начало партийных распрей; им казалось, что партия перестала быть монолитом и есть надежда не только на перемену курса, но и на перемену власти. При разношерстном классовом подборе личного состава, при сравнительно низкой политической грамотности моряков-коммунистов дискуссия пошла не по линии научного обоснования вопроса о задачах профсоюзов в данный период, а по линии старой склоки «верхов» и «низов». С 12 по 16 февраля происходила первая конференция моряков-коммунистов Балтийского флота. Там нашлись твердые и стойкие люди, которые умели ставить глубокие общеполитические вопросы, в то время как демагоги и политики расточали свой темперамент главным образом в прениях по докладу Опродкомфлота и цитировали записки: «Товарищ Сурков, пришли подшамать,

прямо беда». «Быт и образ жизни» обсуждались и на конференции, на фронтах, на кораблях с небывалой остротой и страстностью. Голод и лишения обнажали человеческие чувства. Люди болезненно реагировали на самое незначительное неравенство в быту. То, что произошло на фронте, где нелепо сводить счеты из-за лишнего грамма сахара и горсти муки, где все счеты может свести шальная пуля, здесь, в обстановке тыловой, гарнизонной службы, в обстановке вынужденного бездействия кораблей, приобретало самое острое и важное значение. Во флоте, запертом в Маркизовой луже и Неве, нужно было проявлять особый такт и сдержанность в быту, а этого такта и сдержанности иногда не хватало людям, испытанным в боях и политических бурях. У них была тенденция считать мелочью то, что рождало опасные страсти. Одинокие голоса поднимали вопрос о реорганизации флота в связи с новыми задачами, осторожно внушали мысль о том, что если покончено со старой армией, то как же поступить с тем старым, которое унаследовал красный флот, но эти голоса тонули в общей разногласице. Они приобрели силу, убедительность в дни и ночи, когда загораивали пушки «Красной горки», фортов «Передовой» и «Краснофлотский», последний и единственный довод в затянувшихся переговорах и уговорах мятежников. Политработник Громов, бывший начальник организационной части Политуправления, вывел из Кронштадта партийную школу и группу коммунистов и ушел с ними по льду в Ораниенбаум. Он вернулся в Кронштадт в ночь на 8 марта с курсантами. Это была первая и неудачная атака на Кронштадт. Она была отбита с потерями. Громов сбросил с себя белый халат штурмовика, прошел мимо постов мятежников и вернулся в Ораниенбаум, Громов участвовал во втором штурме Кронштадта в ночь на 17 марта и командовал штурмовым батальоном. Это был спокойный, внушающий к себе уважение, человек с пылким и острым умом. По теории вероятности ему не следовало рисковать жизнью в третий раз. Но

этот раз теория вероятности оправдала себя и тяжелое, почти смертельное ранение в голову вывело Громова из строя на долгие месяцы. Другой равный Громову по мужеству человек был командир форта «Краснофлотский» Сладков. Его разговор по телефону с членом ревкома мятежников — образец революционного сознания и стойкости; вместе с тем этот разговор необычайно характерен по типичному матросскому языку эпохи гражданской войны: «... он спросил (он—член ревкома мятежников, Волин): «А как смотрит на нас Краснофлотский?» Я ему ответил: «Свирипит злобой снести вас, как предателей, за вашу авантюру в такой тяжелый момент революции». Дальше я их стал ругать разинскими выражениями и потребовал от них, чтобы они освободили арестованных коммунистов, немедленно собрали собрание, выстроились невооруженные под знаменем красным, шли бы в сторону, обязательно взяв с собой изменников и провокаторов... На этом я с ним сам кончил мой разговор, выругав их пожуицки...»

«... я им ставил еще вопрос: ведь форты, которые около Кронштадта, напичканы эсерами и меньшевиками, и не подумайте, что вы с клешем куда-нибудь упрягаете далеко». Это был образный довод в споре с мятежниками, утверждавшими, что они беспартийные и их корабль «как был, так и будет красным «Петропавловском».

Но Сладков и Громов, как я уже говорил, были лучшие из лучших. Через десять лет после мятежа раздумываешь над тем, что же заставило сотни рядовых, не всегда политически развитых моряков, итти рядом с курсантами и красноармейцами на Кронштадт. Когда думаешь над этим, то ключом к разгадке таких людей отчасти является знакомый мне моряк с «Севастополя», такой же типичный для основной массы моряков 1920 года, как типична его фамилия — Попов. Это был пожилой моряк старого флота, в тридцать лет одолевший грамоту, в тридцать два года подавший заявление о приеме его в пар-

тию. Он был из той категории, которая целыми корабельными командами записывалась в партию после разгрома Юденича, когда Петрограду уже не угрожала непосредственная опасность. В Кронштадте партийная неделя происходила именно в такие дни, и политическая устойчивость таких моряков-коммунистов всегда вызывала некоторое сомнение. На собрании моряков-коммунистов Кронбазы во время дискуссии о профсоюзах Попов голосовал за платформу ЦК. С настойчивостью и терпением он разбирался в тезисах ЦК и оппозиции. В конце концов он сказал с прямотой и искренностью: «Чего уж! Я там, где Ильич.» В этом была непоколебимая вера в правильность пути, избранного вождем революции. Я вспомнил о Попове, когда увидел «Известия ревкома» мятежников и в списках дезертировавших из партии невольно искал его имя. Но этого имени я не нашел. Зато я нашел самого Попова утром 18 марта в подвале станции Ораниенбаум. В ночь на 3 марта он пришел пешком по льду из Кронштадта вместе с политработниками и Кронштадтской партийной школой. В ночь на 17 марта он был ранен в плечо и голову. Бок-о-бок с петергофскими курсантами он шел на Кронштадт. Пуля раздробившая ему плечо, была выпущена в него, вероятно, тем же «Володькой» или «Петькой», с которым он съел не один горшок каши на «Севастополе». Он сидел на полу в подвале, у него был жар, и он разговаривал как бы в бреду: «У меня ни братьев, ни сватов в деревне... Я грузчик волжский. Я за салом в Нежин не ездил. Покалечили — пусть, но не быть в Кронштадте золотопогонникам, не панствовать в Питере буржуям».

Красноармейцы и краснофлотцы, истекавшие кровью на кронштадтском льду и тонувшие в полыньях, писали эпилог единственной в истории человечества летописи гражданской войны, войны русского пролетариата с капиталистическим миром. Они устали от трехлетней гражданской войны, они жаждали мира и работы в мирных условиях и тем не менее отдавали свою жизнь, потому что

Кронштадт был последним препятствием на пути к мирному строительству, строительству социализма.

Когда Бела Кун, вернувшись из Крыма, рассказал о разгроме Врангеля, партийная конференция моряков приветствовала его с неопишуемым энтузиазмом и радостью. На этой странице, полагали, кончилась героическая эпопея гражданской войны. Но впереди был «Кронштадт». Я подхожу к описанию событий, непосредственно предшествовавших кронштадтскому мятежу, — событий, которые в истории получили название «волынки». Кстати сказать, в дореволюционное время слово «волынка» понималось как некий фермент брожения, как символ революционного брожения. Поэтому, когда в 1912 году группа художников-карикуристов и литераторов затеяла боевой сатирический журнал, она назвала его «Волынка». Журнал вскоре прихлопнула цензура, но могли ли мы думать, что через десять-одиннадцать лет слово «волынка» приобретет совсем другое значение.

Топливо, хлеб, транспорт (расстроенный в связи с демобилизацией армии) — вот три проблемы, которые стояли перед советской властью в те дни. «Брожение в крестьянстве было огромное, среди рабочих также господствовало недовольство. Они были утомлены и изнурены. Ведь существуют же границы человеческих сил. Три года они голодали; нельзя голодать в течение четырех или пяти лет. Голод, естественно, оказывает влияние на политическую активность».

Автор этих исчерпывающих ситуацию строк — В. И. Ленин.

25 февраля был образован Комитет обороны Петроградского укрепленного района, запрещены митинги и собрания, без разрешения Комитета обороны и запрещено «хождение по улицам после 23 часов». В каждом районе были созданы революционные тройки. Во флоте не придавали большого значения волынке. На всякий случай назначили ночные дежурства политработников. По этому случаю я поселился в пяти минутах от Адмиралтейства в общежитии

«Дом крестьянина» на улице Гоголя. Повидимому, здесь до революции была банкирская контора. В комнатах почти не было мебели. Ее заменяли нескороаемые кассы, по одной, по две на комнату. Мы жили как на бивуаке и прислушивались к резонансу волынки во флоте. Для Кронштадта очень показателен такой разговор комиссара отряда больших кораблей и члена бюро коллектива крейсера «Россия»: «Как дела?» Ответ: «Кто знает, погалдят, погалдят и перестанут». Так думали в Политотделе Кронбазы, в Политическом управлении флота и в штабе флота, и в Смольном: «Погалдят и перестанут».

26 февраля я находился в числе нескольких политработников в карауле у казармы молодых моряков; толпа подростков и женщин и небольшие группы рабочих подошли к казарме. Толпа была довольно мирно настроена в отношении караула. У нас была инструкция не допускать общения «волынщиков» с молодыми моряками. Это была неустойчивая в политическом отношении воинская часть, набранная в районах махновского движения. Мы без особого труда уговорили толпу уйти от ворот. Подростки озорничали, останавливали автомобили и высаживали седоков. На набережной канала стояла непонятная, разношерстная толпа. Она следила за событиями и выжидала. Я всматривался в товарищей, державших караул бок-о-бок со мной, и удивлялся их выдержке и хладнокровию. Абель, отшучиваясь, посмеиваясь, отгонял от ворот назойливых подростков. У кого-то из моряков попробовали отобрать Кольт; он сказал: «Не дам. Не ты его мне давал. Он дареный за Казань», и сказал так, что руки опустились. В этот день и в последующие дни настоящими героями были красные курсанты. В архивах революции есть много исторических документов, отразивших высокое классовое сознание бойцов Красной армии, но редкий документ может быть поставлен рядом с письмом петроградских курсантов к рабочим и работницам Петрограда: «Мы, курсанты, дравшиеся на всех фронтах за рабоче-крестьянскую власть... Мы — рабочие и кре-

стьяне... Мы живем так же, как вы. Мы питаемся так же, как вы... Мы не выпустили вчера ни одного боевого патрона. Но мы говорим вам: отгоните от себя мерзавцев, подбивающих вас на выступление. Отделитесь от них, иначе мы не сможем отделить правого от виноватого, честного, но обманутого труженика от бесчестного провокатора и подлеца. Не мешайте нам выполнить свой долг революционеров». Дальше простые, ясные и, в конце концов, дошедшие до сознания честных тружеников слова: «Вместе с советской властью, а не против нее, одолеем мы и холод и голод, и разруху». На плечи этих людей легла вся тяжесть ликвидации кронштадтского мятежа, и они, в составе седьмой армии, в конце концов вернули мятежный Кронштадт советской власти.

Круглые сутки коммунисты Политического управления и штаба флота дежурили в Адмиралтействе. Так начались предкронштадтские и кронштадтские ночи. Спящий, тихий город лежал вокруг, и крыло адмиралтейского здания поднималось над снежными далями Невы, как стена волнореза. Позади лежал темный и мертвый Невский. «Он лежит во всякое время, этот Невский проспект, но более всего тогда, когда ночь наляжет на город и отделит белые и палевые стены домов...» Обыкновенные люди жили в домах, служили в Петрокоммуне, были членами профессиональных союзов, выбирали в Совет. В обыкновенное время они были «лояльные», но каждый раз «когда ночь наляжет на город», когда по Невскому ходят патрули и в районных комитетах дежурят коммунисты, «лояльные» с надеждой обращали взгляд на запад, к Белоострову, к финской границе, туда, где «довоенные» белые булки, пылающие каминьы, желтые башмаки вместо пшенной каши и буржук и валенок. И как трудно преодолеть эту жажду «довоенной» жизни данной Марье Ивановне или данному Ивану Ивановичу! Мы ходили по мостовой и смотрели в мерзлые, свинцовые провалы окошек. Он даже не лгал, этот Невский проспект, — он хотел «довоен-

ной» жизни и белых булок без карточек. Мы возвращались в Адмиралтейство и собирались у единственной на топленной печки в комнате начальника Политического управления. Здесь был телефонный провод с Кронштадтом, Ораниенбаумом, Шлиссельбургом и городские телефоны. Таким образом держалась связь с Кронбазой и районными ревтройками. В других комнатах были холод и мрак. По коридорам карьером носились крысы. Мы дремали, маялись на стульях до полуночи, а потом начинались обычные вечера, вернее «ночи воспоминаний». Веселые и страшные фронтовые рассказы, рассказы о детстве, отрочестве, о царской службе, дальних плаваниях и кругосветных рейсах. На рассвете рассказчики умолкали, исчерпав себя. В белесоватой мгле за окном всплывала площадь. В снежных пеленах утренней метели, как Атлантида с морского дна, вставала Александровская колонна и дуга Главного штаба и фасад дворца. Дежурства снимались в седьмом часу утра; в десять начинался обычный рабочий день. «Волевики» понемногу унимались. Резолюции рабочих собраний, красноармейских и краснофлотских митингов прицели «волевику».

Комиссии из беспартийных рабочих категорически опровергали слухи о насилиях курсантов в дни «волевики».

Сейчас у нас есть исчерпывающие формулировки причин, вызвавших кронштадтский мятеж. Я восстанавливаю в памяти читателя следующие строки, с абсолютной точностью устанавливающие природу кронштадтского мятежа и объясняющие эпоху:

«Весна 1921 года принесла — главным образом, в силу неурожая и падежа скота — крайнее обострение в положении крестьянства, и без того чрезвычайно тяжелом вследствие войны и блокады. Результатом обострения явились политические колебания, составляющие, вообще говоря, самую натуру мелкого производителя. Самым ярким выражением этих колебаний был Кронштадтский мятеж».

Эти строки должны быть эпиграфом ко всякому художественному произведению и всякому труду, имеющему целью показать эпоху «Кронштадта», и естественно, если автор поставит их эпиграфом к отрывочным заметкам об одном дне, кронштадтском дне 18 марта 1921 года. В сущности этот день был эпилогом героической эпопеи, гражданской войны 1917—21 года.

КРОНШТАДТ 18 МАРТА 1921 ГОДА

Около часу дня. Поезд из двадцати теплушек подходит к Ораниенбауму — Ранбову, как его называют матросы. Ранбов — старое название Ораниенбаума, когда он еще был именем Меньшикова.

Со стороны Кронштадта гулкие удары орудий, точно в оркестре пробуют неумелыми руками большой барабан. Едем берегом моря. В просветах деревьев видна сереющая равнина — ледяное поле, море. Лес редееет, и поезд ускоряет ход. Машинист закрывает поддувало и гонит во-всю по открытому месту, но это уже по привычке. Еще вчера кронштадтцы метко стреляли по поездам, метясь в отсвет пламени из паровой трубы и дым. Станция «Ораниенбаум». Над вывеской большая овальная дыра от снаряда. На станции, в зале ожиданий, в служебных комнатах — ни души. Мы обходим станционное здание и спускаемся в подвал. Генштабист-москвич, случайный попутчик, входит первым и подается назад: в подвале темно от матросских бушлатов и шинелей — вплотную, битком матросы при оружии и гранатах. Похоже, будто кронштадтцы взяли Ораниенбаум. Но это свои. В тесноте между пулеметными коробками и моряками — телеграфный аппарат, телеграфист и начальник станции. Мы выходим наверх добывать лошадей. Ораниенбаум — пустыня. Население, детские дома выселены в самом начале событий. Но у станции мобилизован весь окружной транспорт. Тощие крестьянские лошаденки меланхолично жуют солому, и крестьяне с эпическим спокойствием ждут нарядов. Мы огибаем станцию и спускаемся в крестьянских дровнях на лед, исторический кронштадтский лед. Полозья хлюпают по мокрой жиже, по мокрому снегу;

брызги летят из-под полозьев, и черная лента дороги вьется по льду и уходит вперед точно нарисованная на карте. По этому хлюпающему мокрому снегу в ночь на семнадцатое марта шла цепь атакующих. Пока они шли по льду, охватывая Кронштадт с юга и севера, пока в Петрограде у буржук ожидающие белых булок шептались о том, что «ледоколы разбили лед вокруг Кронштадта и крепости никак не взять», — пока они шли по льду, сведущие люди назначили день обстрела Смольного из двенадцатидюймовых «Петропавловска», который, «как известно, разбил лед и подошел к самому Морскому каналу».

Первую, круглую, черную дыру от снаряда мы наперебой показываем друг другу, и кинооператоры целятся из аппаратов и впопыхах снимают полынью. Но чем дальше, тем больше круглых и овальных дыр во льду. Мы едем по стеганому, прошитому снарядами, ледяному полю. Одна полынья, два метра в поперечнике, окрашена с краю в ржаво-коричневый цвет — братская могила. Кронштадт подвигается к нам, злобный и черный под холодным зимним солнцем. Лед у Кронштадта кажется белым и ослепительно чистым, но он такой же серый и грязный, как тот, по которому мы едем. По черной изъезженной дороге идут вразброд матросы. Двое ведут раненого, у него перевязана рука. Он идет бодро, стараясь не опираться на товарищей. Идут точно с работы, торопятся домой и потому несловохотливы. «Кто стреляет?» — «Риф». «Риф» — последний форт в руках кронштадтцев. «Вот...» — говорит генштабист, и я чувствую его руку на локте и вижу на льду трупы, звено цепи, угловившее под картечь и уснувшее навеки на кронштадтском льду. Белый халат, сброшенный в последней судороге, расстегнутая шинель и винтовка в вытянутой к Кронштадту руке. Они лежат мичком и навзничь и на боку у проволочных заграждений, у крестовин, опутанных проволокой и выдвинутых на лед. Сюда пригнал ветер листки воззваний, и газетные листы, пачки листовок лежат между брошенными полевыми телефонами, патрон-

ными ящиками и пулеметными лентами. Живые ходят, разбираясь в трофеях, подбирают и рвут кронштадтские листовки, но здесь живых много меньше, чем мертвых. Берег и часовенка на отлогом берегу. Здесь был первый наблюдательный пункт частей, ворвавшихся в город. Тишина. Молчат орудия. Кронштадт пал. 8 марта радио кронштадтцев говорило Петрограду и миру: «Мы сильны, мы непобедимы». 5 марта, радио Петросовета: «Можно ли прислать несколько человек беспартийных членов Совета узнать в чем дело». И Кронштадт ответил: «беспартийности ваших беспартийных не доверяем». Сегодня молчат орудия — Кронштадт пал. Вот он, город — Кронкрепость, русская казарменная Голландия, некогда чистый, как прибранная перед боем палуба, город двухэтажных обывательских каменных и деревянных домиков, казарм и пакгаузов. Мы идем по снегу, засеянному патронами и патронными гильзами. На Советской улице, на перекрестке, стоял пулемет. Хрустят под ногами сплюснутые, расстрелянные патронные гильзы. Генштабист поднимает серую красноармейскую папаху, обыкновенную с защитным верхом папаху, с красной жестяной звездочкой. Она прожжена пулей, внутри коричневая запекшаяся кровь и осколок черепной кости, и генштабист осторожно, как реликвию, кладет ее на чугунную тумбу. Кончен бой. На улицах заботливо подбирают снаряжение, винтовки, патронные ящики и ленты. Раненые уже в госпиталях, но мертвые и умершие, в смертельной муке заползшие во дворы, еще лежат под открытым небом в той позе, в которой их застала смерть. Стучат молотки: это сколачивают большие, два метра в ширину, деревянные ящики — братские гробы. Живые заботятся о ночлеге и пище. Ночлег в общежитии. Пища, консервы из неприкосновенного крепостного запаса. Кронштадтцы раздавали его населению, и мы тоже ели их два дня, «довоеенные» четырнадцатого года консервы. В управлении коменданта обычная фронтовая суэта, как полагаются в первые часы, когда взяли город. Я вспоминаю юг, Украину, там было больше шума и темперамента,

а здесь северный холодок и спокойствие, от которого мороз дерет по коже. Кронштадтские обыватели чинно стоят в очереди за продовольственными карточками. Женщины в платках, странного вида штатские, явно переодетые матросы волокут винтовки и наганы. Они бросают их на снег во дворе комендатуры и уходят. Населению приказано сдать оружие. Никто не опрашивает ни этих «штатских», ни женщин. Все ясно. Нам важно разоружить население; им важно, чтобы не было оружия в домах. Мы ждем пропусков на «Севастополь» и слушаем разговоры командиров: «Нечем кормить части. Приходится спешно выводить в Ораниенбаум. Понаделали делов, сукины дети». Это относится к кронштадтцам. И весь день мимо нас уходят в Ораниенбаум роты, штурмовавшие Кронштадт. Они идут не торопясь, хлюпая сапогами по воде и мокрому снегу, и, конечно, вспоминают, как пересекали это пространство на животах под ружейным и пулеметным огнем.

По битому стеклу и патронным гильзам, мимо поврежденных орудийным огнем домов подходим к машинной школе. Здесь был горячий бой; засевшие в машинной школе прикрывали отступление на финский берег. Мы пересекли город и увидели Финляндию. Готический шпиль лютеранской церкви — это, кажется, Терриоки. Правее должна быть Квоккала. Здесь, в 1912 году, за самоваром у Чуковского, Репин рассказывал о живом Тургеневе и Флобере, о серебряном самоваре Полины Виардо. Теперь это чужой берег. Туда ушли кронштадтцы. Они увели двести лошадей — весь кронштадтский транспорт, они увели даже пожарный обоз. Поглядев на Финляндию, мы возвращаемся в гостиницу — поздно идти на корабль. Ведут арестованных, и трудно отличить матросов-конвоиров от матросов-арестованных; впрочем, у конвоиров карабин. Питерский рабочий, мобилизованный коммунист спрашивает широкоплечего, с каменным лицом и широким подбородком артиллериста: «Что, клеш. поддежал тебя Пичео?»

У общежития меня окликает Филиппов, культработник политотдела, по прозвищу «Красный баян», Он печатал

множество агитационных стихов во флотской газете и приводил в отчаянье своей плодовитостью всех редакторов. Матросы подшучивали над ним и считали блаженным, но он был фанатиком революционного флота и романтиком чистой воды. Он оказался в Кронштадте в разгаре революционных событий, его арестовали мятежники, и он сидел с арестованными коммунистами и проявил редкое мужество и спокойствие. Колоритная, комическая фигура в собственном изделии фуражке с необыкновенного фасона козырьком, в стеганых штанах и подвязках поверх штанов. Он написал цветными карандашами стихи по поводу взятия Кронштадта, как некогда поэты писали оды во славу одержанных полководцами викторий, но никто не хотел слушать его стихов, и он ушел, поглядывая удивленными глазами на живых и мертвых. На этой улице мертвые лежали шеренгой, через три шага; здесь цепь попала под продольный пулеметный огонь.

19 марта в десятом часу утра мы подходили к линейным кораблям «Петропавловск» и «Севастополь». Ледяная кора, мерзлый снег покрывали борта «Севастополя», аршинные сосульки свисали с бортов. На палубе и на набережной лежали сложенные штабелями стаканы расстрелянных снарядов. Два ледокольных катера, как мухи на липкой бумаге, примерзли на льду, и лед вокруг был разбит и разворочен ледоколами и затянут новым тонким как пленка ледком. Значит, пробовали вывести броненосцы в море. На деревянных мостках у решетки стояли женщины и подростки — они причесли в узлах и корзинках хлеб и сухари арестованным. Пока у нас проверяли пропуск, я слышал у себя за плечами: «Слышь, братишка... Спроси про Тихона Сухова — гальванера, про радиста Завьялова...» Мы поднялись по трапу, и странно выглядел коасноармейский караул на борту линейного корабля. Арестованные ходили на свободе по палубе. Операторы сняли пробойну, след попадания с «Красной горки». Матросы стояли у пробойны и хмуро следили за ними. Неугомонный фотограф для живости снимка по-

просил их стать у самой пробоины. Один махнул рукой и ушел. Другие снялись и потом отошли к борту и смотрели в толпу женщин на берегу. Усталые, равнодушные лица и угрюмые взгляды. Все, как дурной сон. Мы вернулись в город.

Двухэтажный деревянный дом. Угол дома и часть чердака снесены снарядами. С улицы, как из партера театра, мы видим комнату, кровать и шкаф. Мы вошли во двор. Кошка встретила нас на крыльце, мурлыкая и выгибая спину. Но дом бы пуст и двор пуст. В квартире — следы суеты. Брошенная в коридоре корзина, в ней самовар и белье. Все брошено в последний момент. И другой дом; отсюда из угловой комнаты стреляли по наступающим. Окна выбиты прикладами; мебель опрокинута; на полу осколки стекла и окровавленные полотенца. В углу, среди обломков и рухляди, уцелел трехногий столик и на нем часы, стальные часы. Часы шли. Хозяин заводил их вчера.

Если мы не уедем из Кронштадта сегодня, 20 марта, то мы застрянем здесь на неделю. Теплый, почти жаркий день. Лед тает на глазах. Нам дали ледакольный катер. В двух километрах от Кронштадта он напоролся на толстый и крепкий лед и стал. «Поперли?» сказал генштабист, и мы «поперли» пешком по льду, даже не оглянувшись на катер. До Ораниенабума шесть километров. Ледяной поход начинается ножной ледяной ванной и продолжается неистовой матерщиной едва не провалившегося в полынью матроса, отважно несшего на себе треножник и аппараты кинооператоров. С этой минуты мы идем осторожно — обходя полыньи. Черная лента дороги вьется вправо от нас. Третий час дня, при таком черепашьем шаге мы проблуждаем до ночи. Мы балансируем, топчемся на месте и пляшем — это трещит, пляшет под нами и опускается лед. «До чего во-время! — кричит генштабист. — «Я говорю, во-время кончили с Кронштадтом, а дотяни до ледохода?..» Опять благой мат: «Соблюдай дистанцию, иди гуськом, а не кучей, а то будешь рыб кормить в Мар-

кизовой луже». Действительно, если провалишься — никто не поможет: ни веревок, ни шестов нет. Час и два и вечность длится это единственное в жизни путешествие по зыбкому льду между полыньями. Какие-то дровни с хлебом кружат вокруг нас. По пояс в воде идет вестовой и тянет по воде лошадиную голову с безумными, закатившимися от ужаса, глазами. Затем прибавились трое арестованных и их конвой — пять матросов из Особого отдела. Чем больше народу, тем веселее. Но вдруг провалилась лошадь, остановка на полчаса. Все вместе — конвой, и арестованные, и крестьянин, и мы — подсунув под брюхо лошади оглоблю, вытаскиваем ее из полыньи на лед. Между тем уже синий вечер, и огни Ораниенбаума кажутся как бы за тысячу верст. Вода согрелась в сапогах, полы мокрой шинели весят пуды; шлепаешь по воде и вспоминаешь про полыньи и думаешь обо всем, что успел повидать в жизни, про пиаццу Синьории во Флоренции, аматистовые парижские сумерки и огни Сены и о том, чего не успел повидать и, пожалуй, не увидишь. Вдруг берет злость, шагаешь наугад, даже не прислушиваясь к треску льда, — до того глупо утонуть в Маокизовой луже через два дня после взятия Кронштадта. В полной темноте вся компания — арестованные и конвоиры, вестовой и лошадь, дровни с хлебом (они так и не доехали до Кронштадта) — явились в Ораниенбаум, и невозможно сказать, как лошадям и людям было приятно чувствовать себя на твердой земле.

Мы приехали в Петроград в одной теплушке с конвоирами и арестованными. Один (весельчак и балагур) сказал другому: «Тебе что, ты — вдовый, а по мне три бабы воют. Одна — в Кронштадте, другая в Питере, а третья в Керчи, женился, когда за солью ездил».

Вокзал и Лиговка. Здесь от Октябрьского вокзала к Балтийскому прошли мобилизованные члены партийного съезда, пожилые люди, седые, в очках, шинелях, меховых куртках и штатских пальто. Они шли не в ногу, как на демонстрациях. У нас все очень просто и вместе с тем зна-

чительно. Другая нация сделала бы из этого похода романтическое зрелище — знамена, трубы, клики народа. У нас на тротуарах стояли случайные прохожие. Серый притаившийся город, над самыми крышами серое небо, под ногами желтый, мокрый снег.

Дома я ощущаю ледящий холод и чувствую, что промок до пояса. Голова, виски, челюсти стиснуты железными обручами. Шестнадцать ночей, бессонных кронштадтских ночей, дают себя знать. Генштабист-москвич входит и говорит: «Отдайте-ка это завтра в Пубалт, а то мне уезжать», — он оставляет у меня на столе влажный, промокший партийный билет. Билет на имя красноармейца Аксенова, выдан комячейкой — не помню какого полка 27-й Омской дивизии. Мы подобрали билет среди обрывков воззваний и газет у проволочных заграждений. Владелец билета лежит в белом саване подо льдом Маркизовой лужи..

«Прощайте же, братья, вы смело прошли свой доблестный путь...»

Звонок по телефону. «Вы дома?» — «Кто говорит?» — «Вы из Кронштадта?» — «Да.» — «Победа, победа. Это же чудо. Знаете, об этом будут когда-нибудь писать и писать. Итак, Кронштадт пал. Поздравляю».

На столе лежит газета «Красный Кронштадт». В газете последняя оперативная сводка: 23 часа 19 марта. «Се в группа: сведений к сроку не поступало. Ю ж группа: части приводятся в порядок».

Я помню, как начинались кронштадтские события. Комната начальника политуправления всегда была чем-то вроде клуба. Сидели, курили, толковали заезжие политработники. У телефона бьется Трефолов (начальник осведомительной части). Он пробует соединиться с Кронштадтом. Ничего не выходит; он ругается. «В чем дело?» — «Назначено беспартийное собрание, общегарнизонный митинг на Якорной площади. Из Кронштадта передали в Петроморбазу, чтобы прислали делегатов. А кто распоряжается — неизвестно». Эти минуты будешь помнить всю

жизнь. Старинный, похожий на шарманку телефон и желтое усталое лицо Трефолева, горьковатый и душный запах кожаных курток на бараньем меху. Это детали, неизгладимые детали: главное — начался «Кронштадт».

Ночные дежурства. Четвертая, шестая, восьмая кронштадтская ночь. Нас двенадцать, потом восемь человек в полном вооружении. Остальные мобилизованы и отправлены в Сестрорецк и на финляндскую границу. Всю ночь страстные споры о том, «кто виноват, кто мешал работать, кто не принял мер, кто прозевал, прохлопал положение». Но уже с абсолютной точностью проведена черта между верными республике моряками и мятежниками. «Они» и «мы».

Ночь на 6 марта. В шесть часов вечера истекает срок ультиматума мятежникам. У всех слабая надежда: сдадутся, крови не будет. Люди ходят с зелеными лицами, бесцельно бродят по комнатам, смотрят в окна и курят. Выходят на набережную и прислушиваются. В городе особая непонятная тишина. Половина седьмого — мокрый снег и туман, все еще не стреляют. Может, обойдется? Зашли в штаб. Там тоже невыносимое напряжение, дым от папирос, зеленые лица. Удар! Задрезжали стекла. Опять удар... Началось! И сразу облегчение. Орудия северных батарей и «Красной Горки» прогремели как очистительная гроза. Зарницы выстрелов осветили двухнедельную черную ночь над Петроградом и Кронштадтом.

15 марта, 23 часа 45 м. Боевой приказ: «В ночь с 16 на 17 марта стремительным штурмом овладеть крепостью Кронштадтом».

Сорок восемь часов назад в театре Вольной комедии репетировали пьесу Евреинова «Самое главное». Актеры выбегали на улицу прислушиваться к канонаде. Гудели пушки «Петропавловска» — это за граница стучалась в ворота Петрограда с подарками: белыми булками, бритвами «жилет», усовершенствованными подтяжками и шелковыми чулками.

Евреиннов недавно приехал с юга, он отсиживался у бе-

Лых. Приехал, прислушался к пушкам Кронштадта и по секрету сказал художнику Анненкову: «Как опытный автор, я всегда являюсь во-время, под занавес».

Сорок восемь часов назад человек, позвонивший мне по телефону и поздравивший с падением Кронштадта, встретил меня на Невском. Я поклонился, он посмотрел в сторону и не ответил. Это было на Невском за сутки до взятия Кронштадта.

А теперь... «Это же чудо. Об этом будут писать!..»

Итак, К р о н ш т а д т п а л.

4. АФГАНИСТАН

Бывший бурильщик на нефтяных промыслах Уайли Пост и бывший штурман Гарольд Гэтти, американские летчики, сделали кругосветный перелет в 8 дней 15 часов и 51 минуту. Таким образом новый Жюль Верн должен внести еще одну поправку в знаменитый роман для юношества «Вокруг света в восемьдесят дней».

Стенли пересек Африку с востока на запад в восемнадцать месяцев. Сейчас железнодорожная магистраль доведена до реки Конго, и путь Стенли можно совершить в шесть-восемь дней. В июне месяце 1931 года автомобиль типа «Сахара» с гусеничной передачей пресекли Афганистан от персидской границы до Балха. Не знаю, во сколько именно дней сделано это путешествие, но я знаю, что наши самолеты гражданской авиации давно летают из Термеза в Кабул и в несколько часов делают путь, который отнимал у наших дипломатических курьеров две-три недели. Летом 1921 года советская дипломатическая миссия тридцать пять дней путешествовала от крепости Кушка до столицы Афганистана, Кабула, по Хезарийской дороге. Поэтому, когда я пробую описать наши странствия по Афганистану и афганское бытие в 1921 году, читатель 1931 года может читать их с усмешкой, почти так, как он читает путешествие из Пешавера в Кабулистан и Бухару «лейтенанта ост-индийской компанейской службы» Александра Бэрнса, убитого в Кабуле в 1841 году.

После такого вступления я могу рассказать, что происходило в пограничной крепости Кушка 3 июня 1921 года. На запасном пути стоял эшелон особого назначения. У эшелона, прямо на путях ржали, лягались, кусались стовьючных и верховых афганских коней, и конюхи-каракеш

проклинали лошадей на фарси, индустани и тюркском языке. Вокруг изумленное население Кушки, а над нами всеми поднимались бурые и желтые горы и крепостные форты.

Крепость Кушка была не слишком избалована историческими событиями. Историки дважды интересовались самым южным пунктом бывшей Российской империи. Однажды, когда колонизаторы Туркестана дотянулись до этих желто-бурых гор, и во второй раз, когда лихие туркестанские полковники, при Александре III Миротворце, устроили у Таш-Кепри маленькую войну афганцам.

Когда игра была выиграна Лондоном, лихие полковники генерального штаба Туркестанского военного округа стали утешать себя другой более невинной военной игрой. Они наносили на карту-трехверстку кратчайший путь в Индию через Герат—Кандагар, путь, намеченный еще Наполеоном. По их приказанию в крепости Кушка держали наготове шпалы, рельсы, стрелки и подвижной состав воображаемой железнодорожной линии Кушка — Герат. Ее можно было уложить и пустить по ней воинские эшелоны через неделю после перехода границы. Но обер-офицеры кушкинского гарнизона не обольщали себя мыслями о будущем завоевании Индии. Они пили мертвую и выдумали от скуки знаменитую игру в «кукушку», которая заключалась в том, что в темной комнате один офицер куковал кукушкой, а другой стрелял в него из револьвера на голос. От тех времен остались смутные легенды, полуразрушенный монумент на горе и собор, превращенный в клуб, и, конечно, осталась скука, с которой мужественно боролся гарнизонный культпросвет посредством кино и театральных кружков. В 1921 году сюда дважды в неделю заходил поезд «водянка», поезд, развозивший воду по станциям и полустанком от Мерва до Кушки. Один раз в месяц приезжали дипкурьеры из Ташкента в Герат и Кабул и раз в два месяца приезжал афганский дипкурьер из Кабула в Ташкент, черный как уголь, сверкающий белками глаз, стройный и легкий, в сиреновом френче и хрустящих ли-

монно-желтых сапогах и ремнях. Но однажды, в июне месяце, когда даже «водянка» не могла выманить из тени дежурного по станции, появился поезд особого назначения — два мягких вагона, шесть теплушек, сто лошадей, тридцать каракешей и почетный афганский конвой — сто кавалеристов при карнейле (полковнике) и рисальдаре (ротмистре). Это было третье в истории Кушки событие — приезд на афганскую границу советской дипломатической миссии полномочного представителя РСФСР в Афганистане и тридцати двух сотрудников представительства.

Мы долго странствовали от Москвы до афганской границы. Поезд особого назначения сначала побывал в пробке, которая образовалась в Самаре, потом долго шел в хвосте эшелонов с продовольственными грузами, потом неделю простоял у станции «Джусалы», где горная речонка размыла путь и железнодорожный мост держался на честном слове над бурным и мутным потоком. Солнце Ташкента и Мерва растопило и выжгло лак и краску отремонтированных, свежее выкрашенных вагонов. Людей мочили волжские ливни, слепили казахстанские ветры и степные пески, доводило до полного изнеможения и отчаяния солнце Мерва. Они довольно туманно представляли себе ту страну, куда их нес ветер событий. Из географии они знали, что «Афганистан — гористая страна, населенная воинственными племенами» и что «на западе Афганистан граничит с Персией, на севере с средне-азиатскими владениями, на юге с Британской Индией, на востоке...» На востоке начинался, повидимому, край света и география «в курсе среднеучебных заведений» невразумительно называла и Памир, и Читрал и Гиндукуш. На карте эти места обозначались множеством гусениц — горных хребтов. Но еще год назад, в 1919 и 1920 году, станция Круты или Гуляй-Поле представляли непроходимые дебри, джунгли, по которым на тачанках носилось воинственное племя махновцев, а на возах странствовали добрые хуторяне с обрезами под охапкой сена. Ровно два месяца назад мои

сверстники спускались на Кронштадтский лед и впервые в военной истории морская крепость была взята штурмом силами пехоты и кавалерии. «Гористая страна, населенная разбойничьими племенами,» не пугала моего сверстника, но все же был какой-то предел его воображению. Он добросовестно читал описания поездки из Индии в Афганистан лейтенанта Бэрнса в 1831 году и путешествие Моунт Стюарт Эльфистона и записки Яворского, состоявшего в миссии генерала Столетова. Из истории он узнал, что англичане вели бесславные войны с афганцами и, проигрывая сражения, неизменно выигрывали при заключении мира. Эмиры Абдурахман и Хабибула признали контроль Англии над внешней политикой Афганистана, и до 1919 года Афганистан был запретной страной для европейцев. Эмир Амманула не был прямым наследником престола; его отец и брат умерли насильственной смертью при невыясненных обстоятельствах. Это не первый случай в истории мусульманских государств, и появление на престоле Амануллы-хана не вызвало удивления. Но многие удивились тому, что молодой эмир проявил странную самостоятельность и начал непродолжительную войну с Англией. Британия только-что вышла из мировой войны; у нее было достаточно хлопот с переустройством европейских государств и выпрямлением европейских границ, чтобы обременять себя осложнениями на северо-западной границе Индии. На севере Афганистана, вместо в общем покладистой императорской России, утвердилась страна Советов, и потому Англия признала афганскую независимость. 28 февраля 1921 года в Москве был подписан советско-афганский договор. Чрезвычайный полномочный представитель РСФСР Я. З. Суриц прожил в Кабуле около двух лет и подготовил договор — дружественное соглашение Советской республики и Афганистана. То, что не удалось «белым генералам» и титулованным дипломатам школы канцлера князя Горчакова, было осуществлено под руководством Ленина людьми, которые в ссылке, эмиграции и подпольи не обучались тонкостям и уверткам старой империалистической

дипломатии. Таким образом гений революции мимоходом решил еще одну неразрешимую для старой России, царской России, задачу.

Ф. Ф. Раскольников должен был сменить чрезвычайного полпреда РСФСР.

Здесь я временно обрываю фактическую часть записок, чтобы возвратиться к ней, когда в этом будет необходимость. Существует специальная литература об Афганистане; из года в год она пополняется научными трудами. У моих записок совсем другая задача. Я хотел бы, не впадая в сомнительную экзотику, рассказать о том, как жила в Афганистане группа советских граждан десять лет назад. 18 марта 1921 года было эпилогом гражданской войны. Кронштадт пал. Красной армии предстояло прикончить кулацкие банды. Это была сравнительно нетрудная задача, потому что замена разверстки продовольственным налогом и новая экономическая политика оставили банды в одиночестве и лишили их союзников среди «мелких производителей». Страна Советов переходила к мирному строительству. На этом историческом перевале тридцать два человека оставляли единственный в мире передовой государственный строй — Республику Советов — и отправлялись в средние века — мусульманскую средневековую страну. Мы оставляли Республику, где на Украине в 1919 году народным комиссаром пропаганды была женщина, и отправлялись в Афганистан, где за четырнадцать месяцев ни один из нас ни разу не видел афганскую женщину без чадры и не сказал с ней ни слова. Мы отправлялись в страну, где не было ни одной шоссейной дороги и только горные тропы соединяли главные города провинций со столицей. Наконец, мы отправлялись в страну родовых и племенных войн, дворцовых переворотов, тайных убийств; там два года тому назад еще торговали рабами, там сумасшедшие фанатики еще бросались с ножами на европейцев, там великобританский посол майор Кавеньяри повторил судьбу императорского посланника Грибоедова. Товарищи провожали нас так, как провожают вызвавшихся

итти в рискованную разведку. Владимир Владимирович Маяковский лаконически спросил: «Там на кол сажают, или как?» — и протиснулся с благожелательным любопытством.

Две недели мы жили в Ташкенте, пока правительство Высокого и Независимого Афганистана готовило достойную с его точки зрения встречу Советской дипломатической миссии. После Ташкента была Бухара, встречи и речи и ответные банкеты народным назирам Бухарской республики. Затем Чарджуй, где мы прощались с Балтийским флотом — с Чарджуйской военной флотилией. Командовал флотилией Миша Калинин; военные моряки флотилии были балтийцы, направленные в Чарджуй из Петроморбазы, скучающие от жары и странностей Аму-Дарьи, от риса, баранины и урюка и от отсутствия капусты. С точки зрения балтийца Аму-Дарья была страшная река. Она разливалась поздним летом, когда таяли горные снега; она вдруг меняла фарватер, появлялась и внезапно пряталась в песках, как внезапно нападали и прятались басмаческие банды. Я посмотрел на Мишу Калинина и угадал безошибочно, что это не последняя наша встреча и что он не сможет отделить свою судьбу от судьбы тридцати двух странников. И, действительно, однажды поздним вечером он появился под чинарой во дворе полномочного представительства РСФСР в Кабуле. Но еще раньше прискакал из Термеза на диком могучем сером жеребце брат Михаила Калинина, Борис, и привел в изумление афганцев неутомимостью, свойственной одним прирожденным кочевникам. Разведчики и осведомители одной граничащей с Афганистаном державы были, я думаю, озадачены и удивлены путешествием военных моряков в страну, не имеющую выхода к морю. Но так уже полагалось в те времена — люди, сблизившиеся на фронте, предпочитали не расставаться в тылу, на мирной работе, хотя бы эта работа и не имела ничего общего с фронтовой, военной работой. Поэтому среди тридцати двух сотрудников дипломатической миссии две трети были военными моряками, бывшими штаб-

ными и политическими работниками флота. И они сели на коней в Кушке и отправились в дальние странствия с таким видом, как будто они были прирожденные наездники и прирожденные работники по ведомству иностранных дел. В этом было много смешного, иногда и печального, но сейчас, на расстоянии десяти истекших лет, первые шаги советской дипломатии в Средней Азии принимаешь как начало эры, как новую эпоху полного отрешения от методов империалистической политики на востоке. А курьезы принимаешь как исторические курьезы и только.

Несчастья начались от Кушки,
Когда на бешеных коней
Без одеял и без подушек
Уселось множество людей...

Так начинается шуточная поэма Ларисы Рейснер. «Несчастья начались от Кушки» и продолжались, пока всадники привыкали к афганским коням, а кони к всадникам. Разумеется, не все сотрудники нашей миссии были прирожденными кавалеристами, однако все более или менее привыкли к европейским выезженным лошадям, повинующимся поводу и приученным к рыси. Мы никак не могли сразу понять характер и привычки афганского иноходца, норотившего укусить всадника за ногу и лягнуть первого встречного, а афганский иноходец не понимал привычек всадника-европейца. Мог ли товарищ Ц., заведующий нашей финансовой частью, бывший кандидат прав, предполагать, что ему придется сделать тысячу километров по горным тропам и преодолеть перевалы в двенадцать тысяч футов над уровнем моря. А товарищ Р., переводчица, сотрудница бюро печати, приучена ли была к путешествию в носилках, укрепленных на спинах двух запряженных гуськом лошадей? Это сооружение называлось «тахтараван»; оно было покрыто малиновым или ярко-желтым чехлом и выглядело декоративно и очень к месту, смажем, на сцене в балете «Шехеразада». Но передвигаться в нем по карнизу в полметра ширины над

пропастью, или трястись, когда афганские лошади внезапно переходили в галоп, было невыносимо для самого неприхотливого путешественника.

Наконец запела труба, и сто всадников и сорок вьючных коней растянулись по улицам Кушки и покинули крепостной городок, провожаемые всем населением крепости. Дальняя родина, Украина, вдруг простилась со мной поселком Полтавским, украинским селом, оказавшимся в одном километре от крепости Кушка. Некогда, по приказу туркестанских генералов, привезли сюда и поселили чоловиков и жинок, дивчат и парубков из Полтавщины. И матросы-украинцы из конвоя полномочного представительства долго оглядывались на вишневые сады и крытые соломой хаты, плетни и перелазы и кринуцу — до того было удивительно им увидеть украинское село на афганской границе.

Мне попалась тощая старая лошадь. Она совершала свой последний рейс, переставляя ноги, как подагрик костыли, и на последнем перегоне я увидел старого ветерана мертвым, ободранным и брошенным на дороге, а его шкуру за седлом афганского конюха. В первый же вечер мой бедный, старый конь отстал от каравана и, чтобы сократить путь, афганские конвоиры свернули в сторону от караванной дороги. Мы шли по пересохшему руслу горной речки, и нам даже не пришло в голову, что копыта коней ступают по самой границе. Желто-бурые горы, знакомый пейзаж Туркмении, несколько не менялся перед глазами, между тем афганский солдат блеснул глазами и, очертив взмахом руки полукруг, сказал гортанным голосом: «Афганистан». Полчаса назад мы незаметно для себя перешли границу. Мы даже не успели проститься с нашими пограничниками; они все собрались на советском посту, и мы не увидели церемонии первой встречи представителя РСФСР с афганскими пограничными войсками и властями. И мы последними приехали на пост Чильдухтераи, когда чужие звезды, звезды Афганистана, уже мигали над раскинутыми на афганской земле палатками,

Пусть мне простят короткое лирическое отступление. Муза дальних странствий, неугомная, неутомимая муза! В ранней юности трехмачтовый парусный корабль, учебное судно школы мореплавания, было пределом наших мечтаний. Так смотрели аджарские комсомольцы на трехмачтовый парусник «Товарищ» в батумском порту. Так девушка в голубой майке провожает взглядом серебряную птицу Юнкерса удаляющуюся на юг. В юности мы мечтали о парусных кораблях капитана Фракасса и Фомы-Ягненка. В зрелые годы я видел Сен-Мало, орлиное гнездо Фомы. Под стенами и старинными бастионами гуляли джентльмены в разноцветных купальных халатах и прятались от солнца золотозубые англичанки. Я видел на Гвадалквивире каравеллу Колумба и увидел «Бремен», быстрейший в мире трансатлантический пароход, и понял, что время каравелл и бригов безвозвратно прошло. И понял, что хорошо жить в век «Бремена» и самолета Дорнье, поднимающего в воздух сто шестьдесят два человека. Все же «медленный шаг каравана» в горах Афганистана имел для нас неизъяснимую прелесть — может быть, потому, что это был самый древний способ передвижения человечества. Романтические чувства молодости вернулись и не оставляли нас в этом тридцатидневном путешествии. Медленный шаг каравана позволял нам видеть и запоминать все вокруг. Мы дили кумыс и овечье молоко под черными шатрами «хана-и-сиар» у кочевников. Мы заглядывали в ущелья, где в идиллической тишине меланхолически журчали изумрудные горные ручьи. Мы подкрадывались к грифам с голой, точно ободранной шеей и ошейником из торчащих перьев. Мы давили сонных змей и пугали скорпионов и фаланг в размытых дождями, разрушенных дозорных башнях эпохи Великого Могола. Азия повернула к нам свой древний, неподвижный и жесткий лик. Мы спускались в долины. Соединенные цепями вьючные лошади, упираясь копытами в землю, съезжали по крутой горной тропе. Вьюки сползали им на шею. От исступленного крика розовая пена выступала на губах

каракашей. Спешенные всадники шли, держась за конские хвосты, стараясь не глядеть в пропасть. Это был единственный горный перевал на пути в Герат. Кажется, афганцы оставили его в таком девственно-диком виде со специальной, устрашающей целью. Десять лет назад Афганистан показывал себя без прикрас, вплотную, лицом к лицу. Иногда это лицо благодушно улыбалось. Средневековая Азия встречала странника традиционным гостеприимством, радовала его тенью палаток на привале, треском горящего саксаула, дразнящим запахом плова, синим дымком чилима, заменяющего здесь кальян. До Ардеванского перевала — прохладных ущелий, горных изумрудных потоков — было тридцать пять километров безводной равнины, изредка перерезанной оросительными каналами, сожженной безжалостным солнцем. Это был утомительный и долгий переход. Синий горный хребет Паратамиз, тройная линия горных гребней лежала на горизонте. Четыре, пять, шесть часов мы шли против солнца к проклятому горному хребту, но он был недосыгаем, он как бы уходил от нас, меняя цвета и оттенки. На закате солнца он стал иссиня-черным и наконец пропал в темноте.

Желанный привал под зубчатой высокой стеной афганской деревни. На стене стояли седобородые старики в чалмах; они опирались на посохи как библейские старцы и строго смотрели вниз на дымящие костры, палатки, вьюки и невиданных гостей-чужестранцев. А гости сидели за шапками походными столами. Свечи под стеклянными колпачками освещали три разнообразных плова, баранину в растопленном жире, чечевичную кашу — чудеса афганской походной кухни. Зеленый, утоляющий жажду чай «чай и зард» в кузнецовских трактирных чайниках с розанами и кузнецовских чашках, окончательно победивших в Афганистане английские спиртовки и термосы. Гости пили чай из кузнецовских чашек, ели белый хлеб, похожий на кавказский лаваш, и еще не знали, что староста афганской деревни, тоже библейский старец, получил пятьдесят пле-

тей за то, что его хлеб показался черствым прислуживающему высоким гостям мехмандару. А если бы гости и знали об этом, то вряд ли они могли втолковать мелкому чиновнику, старшему слуге наместника Гератской провинции, начальные основы гуманности. Он был и смешон и страшен — толстый, приторно-ласковый человечек с эспаньолой, с бирюзовыми кольцами на коротеньких пальцах-обрубках, в сером в клетку галифэ и гремящих оранжевых крагах. В тот вечер с ним случился трагикомический эпизод, анекдот из эпохи первых шагов нашей дипломатической деятельности. Переводчиком при миссии был Джелали, добродушный и невозмутимый малый, узбек из Ташкента. У него был только один существенный для его должности недостаток — он одинаково плохо знал русский и персидский язык, на котором говорили афганцы. В тот вечер бирюзовый мехмандар сделал все для того, чтобы угодить высоким гостям, и Ф. Ф. Раскольников сказал Джелали: «Переведите ему, что я, от моего лица и лица моих спутников, благодарю наместника...» и далее все, что полагается говорить в таких случаях. Наш переводчик произнес только одну, непонятную для нас персидскую фразу, но эта одна фраза имела потрясающее действие. Сладчайшая улыбка слиняла с лица мехмандара, и слуги, закрыв лицо руками, бросились прочь от стола. И когда в Герате настоящий переводчик расспросил афганцев об этом эпизоде, то оказалось, что слова «от моего лица и лица моих спутников» Джелали перевел буквально так: «удалитесь от моего лица и лица моих спутников». Мы заглядили этот эпизод мимикой и благожелательными жестами.

Черная южная ночь и большие южные звезды. Дует прохладный ветер — ласковый, услужливый, отгоняющий москитов ветерок. Но за горным перевалом легкие зephyры обращаются в яростный вихрь, в горячий ветер, возникающий с точностью хронометра на закате солнца. Четыре часа дует этот бешеный ветер и спадает так же внезапно, как возникает из пустыни. Он дует изо дня в

день сто двадцать дней в году. В Бухаре его называют «афганцем».

Лагерь спит. Афганский часовой ходит у вьюков. Из нашей палатки уже в полусне мы следим за полуоборотами и сложной шагистикой и старинными ружейными артикулами афганского солдата и затем засыпаем сразу под плач и визг, и стенания шакалов.

На четвертый день путешествия мы спустились в долину Герируд и увидели восемь высоких, прямых и слегка наклоненных колонн, похожих на фабричные трубы. Это были минареты «железного хромца» Тамерлана, Тимура. Они поднимались над тропической зеленью садов Герата. Это было на четвертые сутки; курьерский поезд успел бы пройти расстояние от Москвы до Тифлиса, мы же сделали всего сто двадцать пять километров. Вот темпы тысячелетней Азии.

Нас задержали еще на один час на спуске к Герату. Мелочи имеют свой смысл и значение на Востоке, и эта мелочь тоже имела свой смысл и историю, связанную, как ни странно, с Тимуром и его минаретами. В день приезда в Герат нашей миссии за час до торжественной встречи рухнул один из минаретов Тимура. Как могли понять и растолковать эту случайность люди средних веков? Дурное предзнаменование? Война, тяжелое испытание для всей страны и города Герата? И в ту же минуту чиновники и офицеры понеслись на резвых конях к наместнику провинции, девяностолетнему старцу, деду эмира, «который мудр и знает все лучше любого ученого муллы». Старец подумал и спросил: «Как упал минарет? Поперек или вдоль дороги, по которой едет высокий гость?» На наше счастье минарет упал вдоль дороги, верхушкой к кабульским воротам, как бы указывая путь в Кабул. И потому пушечный салют приветствовал «азрет али сафир самба», посла дружественной страны. Караван тронулся к Герату. Четыре кареты выехали навстречу гостям и почетный эскорт афганских кавалеристов, склонив пики, ринулся в гору, как бы атакуя наш караван. Мы спустились к мо-

гиле Маулеви Джами, поэта Джами, еще не зная, какие события предшествовали пушечному салюту в честь полпреда РСФСР.

Могила поэта, столетний кедр, мраморное резное надгробие — сколько раз они были целью наших прогулок в Герате! Чернобородые, молчаливые, задумчивые афганцы, их жены — бесформенные коконы, закутанные в чадры, сидели в тени старых кедров. Они даже не поворачивались в сторону безбожников-чужестранцев. Мы бродили вокруг бассейна; птицы пели над могилой поэта, и пейзаж, который мог бы растрогать любого ориентального романиста, долина, синие и лиловые горы, голубая эмаль минаретов башни и стены Герата были просто невыносимы. Это происходило потому, что шесть человек прожили почти год на положении Робинзонов среди ориентальной меланхолии и экзотического великолепия гератского пейзажа. Как это случилось — я расскажу впоследствии.

Мы въехали в Герат, не выходя из состояния глубокого изумления. Представьте себе группу политических и военных работников, приученных к суровому быту эпохи военного коммунизма, к товарищеской простоте и известной грубости в речах и поступках, Представьте себе северян, привыкших к скучным белесым тонам и полутонам севера, к великорусскому пейзажу, березкам, «безгласности, безбрежности, манящим высям, уходящим далям» и к серенькой ряби Маркизовой лужи. И вдруг эти люди брошены в субтропики, в благодатную долину, обведенную тройной каймой горных хребтов, в темнозеленую листву чинар и в нежную зелень абрикосовых садов и в топкие болота рисовых полей. Ночь мы провели на верблюжьей кошме и видели на твердой, обожженной, как глиняный горшок, земле клешни и рачью шейку скорпиона и пружинное тело фаланги. Шакалы оплакивали нас пронзительными головами плачущих младенцев. Змеи поднимали из камней трехгранные головки. А утром нас ослепили зелень и солнце, нас оглушил салют из заряжающихся с дула пушек

и иступленный рев тромбонов и барабанная дробь афганских оркестров. Мои товарищи, скромные люди, видевшие тиф и непогоду, и смерть, и суровые трудовые будни, сделались участниками пышного и парадного спектакля, напоминающего шествие султанши в сказках Шехеразады или парад Черномора в Руслане. Город Герат, зубчатые стены, башни и крепостные ворота были дальним планом неправдоподобно-прекрасной декорации. И мы, невольные актеры пышного спектакля, были так же интересны для его зрителей, как зрители были интересны для нас. Тысячи и тысячи людей стояли по сторонам дороги, на холмах, на плоских крышах домов, на глинобитных оградах садов. Дети, взрослые и старики (ни одной женщины) — все были одеты в однообразные цвета: в белое — «патлун кандагари» (необъятные шальвары, ниспадающие до туфель с закрученными носами) и коричневое — род жилета из мохнатой домотканной материи. Сорок «газ» белоснежной маты идет на чалму афганца, ровно столько тонкого полотна, сколько нужно, чтобы обернуть и закутать тело правоверного в его смертный час. На скромном бело-коричневом фоне, у горных склонов цвета обожженной глины, неистовствовала зелень садов, голубизна минаретов, свирепствовал пожар медных труб, золотой и огненно-алый фейерверк мундиров, эполет, плюмажей и аксельбантов афганского генералитета. Рядом с этим беснованием золота и алого сукна мы вдруг увидели старомодные черные сюртуки афганских купцов, европейские, семидесятых годов, сюртуки при белоснежных шальварах и туфлях «пешаури» и неизменных чалмах, завязанных с недосыгаемым искусством. Генералитет и нотабли города Герата стояли на фоне белоснежной, раскинутой полукругом палатки, задыхаясь от жары и размокая от пота в своих алых мундирах и черных сюртуках. Наш караван приближался в облаках белой пыли; дорога дымилась за ними почти на полкилометра. Караван начинался авангардом афганских кавалеристов и старинными каретами, которые ожидали нас у могилы Джамии. За каретами, качаясь, плыли малиновые и

оранжевые чехлы тахтараванов, затем ехали восемь матросов, конвой полпреда — ехали с независимым и небрежным видом, как ездят верхом только матросы. Их бескозырки и ленточки и синие воротники странно несоответствовали азиатским седлам и сбруям. За ними ехали сотрудники полпредства в штатском и в полувоенной форме, дальше все тонуло в белом облаке пыли, поднятой выючными конями. Кареты остановились у белой палатки. Человек в красных кавалерийских штанах, штатском пиджаке и красноармейском шлеме, первым пошел нам навстречу и быстро сказал по-русски: «здравствуйте, товарищи, я генконсул Саулов.» В глазах у него было нетерпение, тоска от жары и вместе с тем покорность долгу: «комедия, жара, вообще скука, но что поделаешь. Полагается — терплю». Мы идем к огненнозолотому полукругу мундиров и черной кайме сюртуков. Высокий, с матово-желтым лицом старик в мундире городничего из «Ревизора», не поднимая глаз, тихим, несколько монотонным голосом начинает приветственную речь. Он говорит десять-пятнадцать минут на мелодичном и звучном языке Саади. Возможно, эта речь полна метафор в восточном вкусе, витиеватых сравнений, глубокомысленных исторических сопоставлений — мы слышали знакомые имена султана Бабэра и Сулеймана Великолепного и Александра Македонского — Искандера и имя Михаила Ивановича Калинина. Наконец он кончил речь, наш Джелали переводит ее одним духом лаконической фразой: «Он сказал — слава богу, хорошо доехали. Можно ехать дальше.»

Кареты трогаются, и между двух минаретов мы медленно двигаемся к прямоугольнику стен и башен Герата. Вблизи Герат перестает быть декорацией. Стены и башни, оказывается, имеют объем и все три измерения. Нищие в неописуемых лохмотьях, полуголые, изъеденные пиндинской язвой, волчанкой и луэсом, бегут за каретой.

Мы приехали в Герат.

Во дворе загородного дома «Баг-и-Шахи» (можно перевести — «царский сад») в тени галереи стоял бритый

Наголо человек в визитке. Он курил сигаретку; вокруг стояли матросы и смотрели, как афганский слуга отгонял мух от его голого черепа. Это был врач генерального консульства, Гуго Дэрвиз, австриец из бывших военнопленных, бывший венский студент, славный малый, хороший товарищ, но по внешности типичный немецкий бурш. Он уже однажды был в Кабуле и в Персии и потому считался у нас признанным ориенталистом.

Он любил поговорить, говорил много и довольно бесвязно, с некоторым трудом справляясь с русским языком, прищелкивая языком и пальцами, когда не сразу находил нужные слова. Изумляясь и недоумевая, издали смотрел на него секретарь консульства и в десятый раз задавал себе вопрос, имеет ли право советский служащий вынуждать афганского слугу отгонять от себя мух и нет ли в этом унижения человеческого достоинства. Но так как было известно, что данный слуга есть переодетый полицейский, то можно ли говорить о человеческом достоинстве полицейского? «Престиж, — между тем философствовал доктор Дэрвиз, — я имею в виду, то-есть я хотел бы сказать, дело в следующем...» И он щелкал языком и пальцами. «Восток, как таковой, есть восток. Я имею в виду престиж. То есть дело в том, что...» Дальше следовали подкрепленные историческими фактами и ссылкой на авторитет Кэрзона и знаменитого ориенталиста Бартольда разъяснения разницы между пушечным салютом в двадцать один и сто один выстрел и разъяснение, кого именно следует титуловать «дженаби», а кого «азрет али», и далее еще — о том, что ни в коем случае нельзя справляться у афганца о здоровье его супруги, потому что это абсолютно неприлично с точки зрения мусульманина. Матросы и сотрудники полпредства слушали лекцию о престиже европейца в суверенных государствах Средней Азии, а афганский хан, уездный хаким — начальник Сабзеvara, величественный и равнодушный, сидел на ковре у дверей комнаты доктора. Хан был болен венерической болезнью

и сделал в этот день пятьдесят километров, чтобы посоветоваться с «дженаби доктор саиб».

Узкая каменная лестница, завиваясь винтом внутри башни, вела в крытую галерею, огибающую дом со всех четырех сторон. Галерея напоминала палубу речного парохода, и сам дом был похож по форме на двухэтажный речной пароход с флагштоком на плоской крыше. От главного фасада дома к городским воротам вела широкая дорога. Перед домом, на рисовых полях, работали тихие и покорные крестьяне. Когда всадник проезжал по дороге, они поднимали руку козырьком к глазам, совершенно как жнецы на наших полях. Рассмотрев герб Афганистана на шапке, низко кланялись, приложив руку ко лбу. Мы называли эту гладкую как стол и пустынную дорогу Елисейскими полями. Однажды в день здесь проезжал крестьянин верхом на ослике. Осел не торопясь переставлял стройные ножки, а хозяин пронзительно, на одной ноте, пел песню и показывал ослика шилом в зад — нормальный способ понукания. На сухой и злой горной лошади проезжали афганец и женщина, закутанная от головы до ног в сиреневое покрывало. Лошадь шла чуть-чуть боком, мелкой иноходью, афганец сидел в седле как в кресле и слегка дремал, и конец его чалмы развевался в воздухе. Женщина сидела у него за спиной легко и непринужденно с привычной, врожденной грацией. И все. Часы и дни, и недели, и месяцы — широкая пустынная дорога, башни, рисовые поля, бурые горные склоны. Афганские часовые, конвой консульства, стащив с себя штаны и башмаки, в форменных куртках и белых шароварах, дремали на пороге караульной будки. Рисальдар Худабаш-хан, комендант консульства, иногда, выходил к воротам и нюхал смятую розу или играл четками. В глазах у него была меланхолия и равнодушие к окружающему.

Не думай о награде, которую ты ожидал и она обманула тебя,
Ничего не жди, ни о чем не жалея — и ты будешь счастлив.
Все, что случится с тобой, давно написано в книге,
И эту книгу наугад перелистывает ветер вечности.

Но пока караван был в Герате — сто лошадей бряцали сбруей, кусались и ржали вокруг дома, орали каракеши, жарился плов и стоял такой гам и рев, что магросы называли это место «сорочинский ярмарок».

«Баг-и-шахи» принадлежал богатому хану, феодалу, которого казнил эмир Абдурахман. Нижний этаж был построен еще при персах, а персы в последний раз были в Герате в XVIII веке при Надир-шахе. В нижнем этаже, в полуподземном зале жил «дженаби доктор саиб», доктор Дэрвиз. Здесь было всегда прохладно, потому что не было окон и каменный пол обильно поливали водой. И потому комната доктора была вроде клуба. Пахло аптекой — европейской аптеки в Герате не было, — доктор составлял сам лекарства при помощи нескольких мензурок, пробирок и аптечных весов. В весах кой-чего нехватало и успешно заменялось камешками и афганскими монетками. Лекарства не помогали и не вредили. Больные афганцы не уважали европейских лекарств, потому что «тот, который мудр и знает все лучше любого муллы», девяностолетний наместник утверждал, что афганцы вообще болеют от европейских лекарств. В подземный зал афганцы входили с опаской. Так в средние века входили в лабораторию алхимика. Мы же нагло сидели на столах и на кровати и на туземных сундуках, яхтанах и просто на каменном полу. Мы слушали гитару и песни матроса Никифорова и венские, довоенные «вицы» доктора Дэрвиза, которых никак не ценила Лариса Михайловна. Утром Дэрвиз, рыжий и голый, делал гимнастические упражнения по системе Мюллера, и афганский слуга Али считал приседания, выбрасывания рук и ног особым ритуалом утренней молитвы и отворачивался в почтительном ужасе. Вечером зажигали лампу-молнию, и как только начинал бушевать дикий ветер «афганец», сюда сходилось все население гератского консульства. Начинался вечер самодеятельного искусства, затем, когда стихал ветер, все переходили в сад. Сад был дико великолепен в своей азиатской запущенности. Половину его занимали виноградники. Виноград никогда не вы-

зрелал, потому что мы им не занимались и съедали его незрелым. Перед домом был четырехугольный бассейн и скамьи, но мы уходили в глубину сада. Там были четыре каменных четырехугольных возвышения для вечернего намаза. Справа и слева росли абрикосы, персики и сливы чудовищной величины. В саду под открытым небом, зимой и летом, жили наши лошади «Ширин», «Мальчик» и «Серый» и стоял экипаж времен Александра второго. Там же спал конюх Юсуф — териакеш, курильщик опиума (териака). Териакешом его называли не в обиду, а просто для отличия от другого Юсуфа, помощника повара. Юсуфу-конюху купили ливрею на гератском базаре. Собственно, это не была ливрея, а парадный мундир бывшего коменданта Кушки, генерал-лейтенанта царской армии. Мы задумывались над тем, оставить ли Юсуфу генерал-лейтенантские эполеты (они ему нравились), но, поразмыслив, решили их снять. Кроме лошадей фауну сада составляли дикая и злая горная птица гриф, которого называли «курочкой», и ручной горной джейран, который ловко бил рогами грифа. Затем жили змеи, которых мы не трогали, и вечером забегали шакалы. Они прибегали с гор, пролезали сквозь дыры арыков в ограду сада. Вечером когда на галлерее и верхнем зале не было людей, шакалы бегали мимо чайных столов. Ограда нашего сада упиралась в горный хребет, за хребтом был север, Кушка, советская страна. Большая северная звезда мигала над хребтом. Мы обращали к ней взгляд, пока месяц за месяцем протекало наше Гератское заточение. Оно разъедало нас, как ржавая вода арыков разъедала металл. Меланхолия, фатализм, вековая неподвижность афганского быта в конце концов действовали на нас. Человек жил год и два года в средних веках, затем выходил из себя и посылал трагические радиogramмы через Кушку в Кабул и Ташкент и Москву и требовал отозвания и в конце концов уезжал почти самовольно. Я напоминаю читателю, что действие происходило больше десяти лет назад, в одной из самых отсталых афганских провинций; сюда черепашьим ходом шли

и пока не дошли кабульские реформы. И потому, когда уже невозможно было смотреть на стены Герата, долину и горы, — мы смотрели на северную звезду. Мы обращали к ней взгляд и в тяжкие бессонные ночи, когда почти потеряли надежду увидеть свою страну. Но в первые дни на территории «Высокого и независимого Афганистана» никто не думал о грядущих опасностях и невыносимом однообразии и монотонности гератской жизни. Дикий юг, передвижение во времени на пять веков назад—все было внове и все было интересно путешественникам. Афганские солдаты и шпионы с изумлением смотрели на этих одержимых чужеземцев, весельчаков, распевających до полуночи песни, на жену «сафир саиба» посла, одобряющую пляски простых «си-пай», то-есть матросов охраны представительства.

Был конец Уразы — шестинедельного поста у мусульман — и мы должны были присутствовать на торжественном дурбаре — собрании по случаю его окончания. Но прежде чем отдаться во власть ужасающему великолепию дурбара, я расскажу одну короткую и правдивую историю.

Нельзя сказать, чтобы дженаби-доктор-саиб, доктор Дэрвиз, хорошо выглядел на коне или лихо сидел в седле. Во время мировой войны он был зауряд-врачом в Галицийском пехотном полку, но Восток — Персия и Афганистан — приучил его к прогулкам верхом. Его теория престижа европейцы в суверенном азиатском государстве запрещали ему передвигаться пешком даже по гератскому базару. Поэтому однажды утром доктор Дэрвиз приказал позвать к себе халифу-Акбера, лучшего гератского сапожника. Он нарисовал ему карандашом, какие сапоги он мыслил себе для верховой езды; желтые, вернее оранжевые, мягкой кожи, с ремешком, подтягивающим голенище к колену. Халифа-Акбер снял мерку, взял с собой рисунок и обещал сделать сапоги ровно через два дня: «Инш-Аллах в среду», — если богу угодно, в среду. Он попросил за сапоги сорок рупий, доктор сухо сказал «балле», что значит: «да». Потом, как бывший франкмассон и настоящий атеист, он сурово заметил, что сапоги должны быть готовы именно

в среду, независимо от того, будет ли это угодно богу. Причина нетерпения доктора Гуго Дэрвиза была такая: впервые за два года существования консульства в Герате здесь находились пять молодых женщин. Доктор Дэрвиз предполагал сопровождать их к могиле поэта Джами и показать гератские достопримечательности. И он в мыслях рисовал себя в седле, в новых желтых сапогах, рядом с каретой, в которой будет сидеть Лариса Михайловна Рейснер, переводчица бюро печати Мария Николаевна и переводчица Елизавета Григорьевна.

Халифа-Акбер, лучший сапожник Герата, покинул комнату доктора и посмотрел на солнце. Был час дня. Солнце жгло и разило в голову. Халифа никогда не проявлял ненужной суеты; наоборот, он был величав и задумчив. Он решил переждать жару в саду под тенью дерева. Он ушел в глубину сада, выбрал дикую яблоню и лег под ней, сняв с ног шитые золотом «пешаури». Может, ничего бы и не случилось с Акбером, если бы он, наподобие Евы и Адама, не соблазнился горьким яблочком и не подвинул его к себе босой ногой. В эту минуту маленькая, тридцати сантиметров в длину, змейка ужалила его в ногу. Халифа-Акбер прижал змейку концом палки, вытащил фуляровый платок и, прищемив змейку у самой головки двумя пальцами, покрыл ее платком и завязал платок в узелок. Однако она успела его ужалить еще раз в ладонь, но после первого укуса это уже не имело большого значения. Мы бы ничего не узнали о том, что делал дальше халифа-Акбер, если бы его не увидела во дворе Лариса Михайловна и не заинтересовалась узелком, в котором двигалось что-то живое. Спрятав узелок за спину, халифа сказал «маар», что значит змея, и показал два укуса. И тогда Лариса Михайловна позвала доктора Дэрвиза, а доктор Дэрвиз повел халифа-Акбера в свою подземную комнату. Он хотел прижечь укусы спиртом, но правоверный суннит с негодованием убрал руку и ногу. Мусульманин-суннит не должен употреблять адское зелье—алкоголь—ни внутрь, ни наружу. Тогда доктор Дэрвиз предложил выжечь укус порохом, но ха-

лифа поклонился, взял узелок со змеей за кончик и пошел к дверям. Доктор предложил отдать ему змею. Он собирал в спирту разных гадюк, скорпионов и фаланг, он хотел уморить в спирту змею и сохранить ее в назидание приемнику. Но халифа-Акбер сказал: «Если вас укусит змея, меня повесит Мухамед-Сарвар-хан» (то-есть, наместник эмира). И он ушел и уходя сказал, что сапоги «дженаби-доктор-саиба», инш-Аллах — если будет богу угодно, — сделает в среду. Два дня прошли без всяких событий, но Лариса Михайловна Рейснер не забыла о халифа-Акбере, укушенном змеей и отказавшемся от европейского способа лечения. Рисальдар Худабаш-хан рассказал ей через переводчика, что халифа, лучший сапожник Герата, угодивший самому рисальдару, принес змею ученому мулле. Мулла развернул узелок со всеми предосторожностями, прижал змее голову раздвоенной щепкой, осмотрел змею и сказал, что это серая гадюка. Затем змее разможили голову и бросили ее в мусор. Инш-Аллах, в среду (если богу угодно), именно в среду, пришел мальчик-подмастерье и принес доктору Дэрвизу новые сапоги, желтые сапоги, превосходно сидевшие на ноге, с ремешком, оттягивающим голенища к колену. Он получил сорок рупий и один кран для себя. Он уже уходил, когда доктор заинтересовался, почему не пришел сам халифа-Акбер. И мальчик сказал, что халифа, то-есть хозяин («инш-Аллах»), умер в воскресенье вечером и похоронен до заката солнца. За три часа до смерти он сделал заготовки, то-есть скроил сапоги для доктора, затем начал пухнуть и умер, потому что его укусила серая гадюка, потому что ранку от укуса во-время не прижгли и потому что второй укус был близко к голове. Впрочем, это уже заключение ученого муллы. Доктор Дэрвиз надел желтые сапоги и поехал верхом в горы показывать Ларисе Михайловне могилу Джамии. Он был мрачен и рассказал нам эту историю, и мы не винили его ни в чем, потому что понимали, в какой стране мы находимся и в какое время мы живем. А жили мы в четырнадцатом веке; двадцатый век мы оставили за северным горным хребтом.

Вот и вся история халифа-Акбера, серой гадюки и дже-наби-доктора-саиба.

Наступил Рамазан.

Завтра месяц благословит молчаливый и спящий город...

День, когда умер сапожник Акбер, был последним днем Уразы-Рамазана, шестинедельного поста мусульман. Сорок тысяч жителей Герата спали в старинных городских стенах, как в продолговатой коробочке. Офицеры, чиновники, купцы и муллы спали в прохладных темных нишах. Они легли на рассвете. Шесть недель они превращали ночь в день, судили, торговали, брали взятки, пили и ели ночью. С первыми лучами солнца они засыпали в своих домах, потому что по закону пророка в дни Уразы запрещено принимать пищу и утолять жажду. Надо спать и возможно меньше двигаться, чтобы легко переносить пост. Но эти предосторожности, разумеется, не касались простого народа. Простолюдин может работать и ходить куда вздумается днем, но есть и пить он может только после заката солнца. Так шесть недель в году город живет ночью. В обыкновенные дни пушечный выстрел на закате солнца означает конец дня и земных работ. Южный день потухает внезапно; почти без сумерек спускается темная южная ночь. Стража запирает городские ворота; мрак и безмолвие над спящим городом, и редкие светляки фонарей, и печальная переключка ночных сторожей. Так было при Тимуре и персах, и так было при Мухамед-Сарвар-хане в 1921 году. И потому для нас был привлекателен ночной праздник Ураза — азиатский карнавал, ярмарка при фонарях, торжище, клуб в любой чай-хане, бюро путешествий в караван-сараяе, бюро новостей и банкирская контора в лавке любого купца. Базар — постоянная «тамаша», нехитрое и доступное развлечение для наивного и любопытствующего народа. Толпа зевак окружала чужестранца тесным кольцом и сопровождала его в качестве почетной и неотвязной свиты. Трудно наблюдать чужой быт и чужую жизнь — когда ты сам

предмет зоркого наблюдения, назойливой слежки. Нищие дергали нас за полы, мальчуганы пролезали у нас под локтями и заглядывали в лицо агатовыми, лукавыми глазками. Но вот знакомый купец берет нас под покровительство; он легко хлопает туфлей по лбу мальчугана, он швыряет сухой чурек в лицо нищему, он вдвигает нас в нишу глубиной в один метр, закрывает нас от толпы своей широкой спиной — и мы в универсальном магазине. У ваших ног растет гора самых разнообразных вещей; колониальные товары, которыми щедро одарила Персию и Афганистан Британия, незажигающиеся зажигалки, недействующие электрические фонарики, непишущие вечные ручки, стэки и термосы, гимнастические приборы, трубки и трубочный табак. Днем солнечный луч прорвется в щель навеса и выхватит из полутьмы дешевую индийскую кисею и в один миг превратит ее в драгоценную ткань. Пройдет верблюд — его тюк величиной с самого верблюда погасит солнечный луч, и опять перед вами просто пыльное тряпье. Но сейчас вечер, ночь, все ткани серы в тусклом свете фонариков и плошек. Купец соблазняет вас золотой монетой. Она лежит у вас на ладони, золотая монетка с профилем Александра Македонянина — Искандера Зюлькарнейн — и греческой надписью «Базилеус» — царь. Но вы отодвигаете этот робкий труд гератского ювелира, подделку от нечего делать, для которой нужны только жаровня и кусочек низкопробного золота. Сколько разнообразных предметов собрано на пространстве четырех квадратных метров, и сам купец не знает, откуда например к нему попал микроскоп и для чего он, собственно, нужен иностранцам. В конце концов он продает нашему переводчику коробку английских сигарет и добавляет в придачу свежую новость: «В Мешхед приехал новый сафир-энглези, старый сафир — индус-мусульманин — уехал в Мекку через Белуджистан... Возьмите обе коробки, саиб, по две рупии коробка». Между тем, мимо ниши несется цветной, разногласый поток, люди и верблюды и кони, звучащий и цветной, бесконечный фильм, от которого слепнешь и глухнешь,

но не можешь отвести глаз. Под куполом базара в месте, называемом Чаар-су, золотошвейный ряд, тысяча развешанных на стене золотых тюбетеек отражают огни фонарей и плашек. И вопли и клятвы продавцов, и рев ослов, и брань погонщиков вдруг покрывает раздирающий уши оклик «хабардар!» — это афганский офицер или хан скачет галопом по базару и давит народ, как приличествует его высокому чину и происхождению. Воеет ошпаренный бродячий пес, поют бродячие певцы, звенит струна тары в руках музыканта-перса, и кружит голову острый запах пряностей, жареного мяса и острых приправ и зелий, табака, гниющей воды, роз и падали. И на три метра от земли в куполе Чаар-су висит чернобородый гигант с матово-синим лицом. Сегодня среда — день суда и торжища. Сегодня среда, и на стене Чаар-су мелом грубо нарисовали руку с растопыренными пальцами. Рисунок говорит о том, что закон соблюден, что крестьянин-хезариец, убивший сборщика податей, повешен сегодня, в среду, в день суда и торжища, как положено в шариате. Он будет висеть три дня и три ночи в назидание жителям провинции, а внизу будут жарить на углях баранину и торговать хлебом и золотыми тюбетейками, и табаком, и сладостями, обвешивать и обмеривать, клясться и проклинать. И только наш соотечественник, матрос-балтиец, поднимет глаза и, увидев повешенного, раскроет от изумления рот и возьмет слегка вправо, потому что тюки верблюдов и шапки рослых всадников иногда касаются босых ног висельника.

Конец Уразы мы увидели в Герате, а начало застали в Бухаре. Резные столбы на площади Регистана, старый дворец эмира и бассейн Лаби-хауз, узорная тень ветвей на камнях — это была Бухара-и-Шериф, святая Бухара — цель долгих и опасных странствий паломников, место гибели отважных путешественников европейцев. Только год прошел с тех пор, как бежал в Мазар-и-Шериф последний эмир Бухары, увозя восемнадцать груженных золотом и драгоценностями арб. Мы почувствовали легкое содроганье от душного запаха столетий и обильно пролитой крови, от

непревзойденной материальной красоты висящих в воздухе куполов и минаретов — каменных драгоценностей. Время стояло неподвижно, будто бы наше поколение жило уже семь веков и ничего не случилось, ничего не произошло в этом мире. Еще вчера Тимур прискакал в Самарканд из Дэли, еще вчера брызнула на старые плиты кровь европейца Артура Коноли, кощунственно проникшего в святую Бухару. Мы не говорили об этом вслух, но, честное слово, эти несвоевременные мысли смущали нас. Что же случилось, что произошло в эти пять-шесть столетий? На базаре кожевник разбивает деревянным молотком невыделанную кожу, проходимцы курят анашу в подземельях караван-сарая, азиатский рынок кипит и плещет вокруг Лабихауз, попрежнему в чадре, в трех покрывалах и кисее, проходят бесформенные коконы — жены бухарских купцов; он неподвижен и вечен, этот проклятый Восток! Динамит, мелинит, газы — чем можно сокрушить этот застывший каменный быт, эту нетленную и мертвящую, усыпляющую красоту? «Даже тюрьма, обыкновенная тюрьма, здесь — не казарма с решетками, а очарованный замок, монументальная громада, декорация», — вдруг сказала Лариса Михайловна, и мы увидели против тюремных ворот бассейн; зеленющие ветви как занавес свисали над желтой водой, весенний цвет плавал в воде бассейна. Мы углубились в улицы и долго шли между глухими глиняными стенами, и вдруг увидели дом, самый обыкновенный городской дом с дверями и окнами. Четырехугольники окон светились издали; мы подошли и увидели в окно перекрещенные на стенах полосы кумача, белые меловые буквы и услышали восклицанья и шум спора и звонкий голос: «Товарищ Вахаб не может быть членом партии; мы знаем товарища Вахаба Мамединова; его отец был назир у эмира, и он сам ходит в мечеть и совершает намаз . . .» И этот голос вдруг погас во взрыве восклицаний. Другой голос покрыл все: «Товарищи, слово товарищу Вахабу! . . .»

Мы посмотрели друг на друга, и нам стало весело, мы повернули назад и прошли мимо Тай-Минор, «минарета

смерти», иронически подмигивая старым камешкам: вы — музей, только музей, и ничего больше. Существойте, чтобы люди знали, как и кто вас поставил, но рядом с вами будут новые дома, большие дома с квадратными окнами. Есть люди, которым надоели пыльные ковры и глиняные норки и волосяные маски на лицах их сестер и матерей, и жен. Рядом со старыми камешками будет новый, легкий, живой быт двадцатого века. Это век новой культуры, век победы революции.

Теперь мы были в Герате. Между старым Гератом и Бухарой лежал, по выражению Ларисы Рейснер, горный хребет Парапамиз и кривая мусульманская шашка. На севере лежали Узбекистан, Таджикистан и Туркмения — советские страны, на запад от Герата, в трех переходах, была граница Персии, а в шести переходах — город Мешхед. Пять-шесть дней отделяет дремучее азиатское средневековье от двадцатого века современной Персии. В Мешхеде молодая, уже попробовавшая европейской цивилизации буржуазия, намечающаяся борьба классов, стихийные восстания и кровавые схватки с правительством Ахмед-шаха и национальное освободительное движение против британских колонизаторов. Придет время, и я расскажу читателю историю полковника Магомета Таги и сафира англези — английского консула в Мешхеде и Бужнурского хана, который, может быть, до сих пор живет вблизи Кафаргалы. Я расскажу об одной маленькой революции, восстании Магомета Таги и его товарищей, но оно происходило зимой 1921 года; мы же живем еще в июне и предстоит дурбар, торжественный прием у деда и наместника эмира в Герирудской провинции, Мухамед-Сарвар-хана.

Пять карет, похожих на те кареты, которые подавались шаферам на купеческих свадьбах, отвезли нас в Чаар-бах, дворец наместника вблизи городской цитадели. Места в каретах и места за столом были распределены афганским церемониймейстером согласно таблицы о рангах, и так как он не слишком тонко разбирался в том, кому следует отдавать больше почестей — второму секретарю полпредства или

коменданту, или заведующему финансовой частью, то я, заведующий бюро печати, почему-то получил довольно удобное для наблюдений и, повидимому, почетное место. Потом это объяснилось: заведующий бюро печати в переводе с русского на персидский превратился в высокое лицо — хранителя печати, а хранитель большой государственной печати в понимании восточных правителей — высокая персона. Таким образом я стал хранителем печати и чувствовал себя в этом звании лучше, чем в прежнем, абсолютно непонятном афганским чиновникам.

«Чаар-су» значит четыре воды, четыре ручья, «Чаарбаг» значит четыре сада. Ни там, ни здесь я не видел ни ручьев, ни садов. Желто-серые кубы домов лепились по холму цитадели, дикий виноград и плющ, переползая с крыши на крышу, добирался до самой высокой точки квадратной террасы, где проводил свои досуги доктор Дэрвиз в дни, когда он был одним из первых европейцев в Герате. Тогда он предпочитал эту глиняную коробочку и террасу, потому что отсюда в полевой бинокль он видел потаенную жизнь дворца. Красивый юноша лежал на ковре на крыше; он играл на таре; дородный старик смотрел на него с обожанием и курил чилим. Однажды любопытный доктор увидел молодых женщин; они обливали друг друга водой из ковшей и смеялись и играли, разбрызгивая воду. Разумеется, они были без всякой кисеи, покрывал и волосяных сеток. И когда мы проходили по большому квадратному двору мимо солдат и народа, прижатого в конец двора, доктор с некоторым сожалением поглядывал вверх на кубы плоских крыш и милую знакомую террасу. Мы же не были связаны никакими воспоминаниями и чистосердечно предавались самому нескромному любопытству. Мы разглядывали двухэтажные, варварски выкрашенные здания. Здесь был дворец наместника, канцелярии всех гератских ведомств и зал для дурбаров — сводчатый длинный зал, напоминающий театральное фойе. За тремя длинными столами в торжественной тишине сидели офицеры, чинов-

ники и именитые гератские купцы. В приличном отдалении стояли столы наместника и генералитета. Мы сидели лицом к генералитету. В конце концов нам надоело рассматривать усы, бороды, аксельбанты генералов, распаренных, полузадушенных в своих тугих до удавления воротниках. Трубы заревели все вдруг, страшным голосом рывкнул «салам» офицер у входа, грянули о камень приклады ружей: белый с золотом старичок, в каске с петушиными перышками, семена ножками, вбежал в зал. Зажужжали трубы, старичок протянул руку в замшевой белой перчатке Раскольникову и каждому из нас. У него маленькая яйцеобразная головка и борода седым валиком вокруг подбородка и пребойкие зеленые глазки. Он уселся в троноподобное кресло; адъютант подсунил ему табакерку и золотую плевательницу. В зале появились слуги с оловянными блюдами и белоснежными пирамидами плова. Затем, в течение двух часов тишина прерывалась только жеваньем, чавканьем и причмокиваньем пятисот ртов, ревом труб, громом барабанов во дворе и старческим лепетом жовиального старичка в каске. От стола к столу ходил «дивана», блаженный при дворе наместника, худой как скелет человек в лохмотьях. Он похаживал вокруг нас, иногда недвусмысленно поплевывал в нашу сторону, но ни мы, ни господа генералы этого не замечали. Наместник жизнерадостно лепетал, хихикал, икал, много ел; в сущности только он один держал себя непринужденно в этом торжественном собрании. Он вдруг вспомнил о феномене-баране, родившемся в Ферахе, и немедленно, прямо в зал, привели феноменального барана, у которого вместо рогов были два черных костяных шара. Старичок сказал, что это чудо он отправляет вместе с нами в Кабул в подарок эмиру, и действительно баран впоследствии путешествовал вместе с нами в особых выючных носилках, и особые люди составляли штат при путешествующем феномене. Мы никак не могли верить, что в руках этого кукольного старичка — жизнь и имущество полумиллиона жителей провинции. Между тем, именно он собирал подати, судил,

казнил и миловал и держал в своих старческих руках всю Герирудскую провинцию и превратил эту провинцию в какой-то удивительный средневековый заповедник. Так он прожил девяносто лет в своем заповеднике; на севере и западе происходили войны и революции. Среднеазиатская железная дорога протянула рельсы до самой афганской границы, телеграфные провода и шоссе соединили Хоросан с Тегераном — но старик не чувствовал движения времени. Здесь ничего не менялось со дня его совершеннолетия и до 8 июня 1921 года.

Музыканты маршировали во дворе и неутомимо били в барабаны, дули в трубы один и тот же марш. Мы привыкли к афганской музыке и поняли, что здесь важна не мелодия, а ритм. Музыканты играли с нарастающей экспрессией, маршируя и вдохновляясь, доходили до настоящего экстаза. Не об этой ли музыке писал поэт одиннадцатого века:

Когда рассуждают о наслажденьях для избранных, я говорю:
Гром барабанов приятен только на расстоянии.

Еще восемь или девять разнообразных пловов — и старичок встал и генералитет, икая, отвалился от стола, но это был не конец; нам предстояло единственное в жизни зрелище, от которого через десять лет осталось впечатление дурного сна и бреда.

Наместник, свита и мы поднялись в верхний этаж дворца, в павильон с цветными стеклышками. Отсюда был виден весь двор, цепь солдат и толпа в несколько тысяч человек позади. Старик махнул перчаткой — толпа мгновенно прорвала цепь и очутилась у нас под ногами. Чалмы кипели, как поле пышных белых цветов под ветром. Старику подали серебряное блюдо и на блюде гору мелких серебряных монет, и он горсть за горстью, как сеятель бросает семена, бросал монеты в толпу, и тысяча рук, переплетаясь в воздухе, ловили серебряный дождь, тысяча глаз, обращенных к старику, горели звериным огнем, и вопль тысячи глоток совершенно оглушил нас на нашей

вышке. Люди дрались, давили, калечили друг друга, внизу все сбилось в чудовищный клубок тел, а старичок с лицом идола, поджав под себя ноги, швырял серебряные монеты в толпу. Так он разбросал два блюда мелочи; ему подали воды в серебряном тазике, он поплескался в воде, встал, благодушно улыбаясь, и ушел, даже не оглянувшись на ревушую толпу. Так кончился дурбар, описанный на следующий день высоким слогом в крошечной газете «Единение Ислама»:

Его высокопревосходительство, да увелится почет его, высокий сердар Мухамед-Сарвар-хан из своих рук раздавал милостыню бедным Герата в присутствии его высокопревосходительства, да продлятся дни его, полномочного посла и свиты.

Двое моих сограждан получили увечие в толпе и еще трое умерли, ибо дурбар был действительно великолепен и зрелище стоило того, чтобы любоваться и удивляться.

Собрать по перу не мог скрыть того обстоятельства, что он сам, редактор газеты «Единение Ислама», был приглашен принять участие в трапезе и таким образом шестая держава получила признание своих заслуг в Герате. Газета печаталась на коричневой оберточной бумаге, и просвещенный редактор-мулла собственноручно сочинял прямо на литографском камне светскую хронику Герата и последнее сенсационное сообщение о том, что в городе Сабзеваре родился двухголовый жеребенок, а в Джелалабаде его величество эмир собственноручно застрелил дикого гуся и две цапли. В иностранном отделе вы могли прочесть свежую новость о том, что в Нью-Йорке есть дом в сорок этажей. Выше сорока этажей фантазия редактора не поднималась.

Мы возвратились с дурбара утомленные ворохом впечатлений, и тут я впервые услышал от Ларисы Михайловны хулу на природу, сотворившую ее женщиной: женщинам не полагается присутствовать на дурбарах. Женщина, отвоевавшая себе место в литературе, первая в разведке и в бою и в политических бурях, не увидела этого безобразного до великолепия зрелища. Она пред-

чувствовала, что архаический быт доживает свой последний год и музейные экспонаты мусульманского средневековья уходят из поля ее зрения. Ровно через год я снова был в Герате и видел дурбар по случаю конца Уразы. Жизнерадостный старичок был в отставке и опале, в троноподобном кресле сидел новый наместник Герата, бывший министр полиции Шоджау-Доуле, Меньшиков при афганском Петре первом — эмире Аммануле-хане. Он буквально стриг бороды афганским боярам; он заставил их надеть европейское платье (правда, сшитое из афганского, а не европейского сукна). Он упразднил экзотические мундиры и передел офицеров в хаки, в скромную, напоминающую турецкую, военную форму, он приказал поставить европейские кресла в покои наместника. Там, где раньше сидели на корточках «джарнейли», господа генералы, он поставил роуаль, на котором, правда, никто не умел и не смел играть. Но хуже всех пришлось чиновникам, когда в канцеляриях появились столы и стулья и афганские подьячие и приказные, которые из поколения в поколение, сидели поджав ноги на кошке и писали на колене, принуждены были сесть на стулья и писать на столе. Жестокие новшества! — Девяностолетний Мухамед-Сарвар-хан не увидел этого потрясения основ; его почти насильно выпроводили в Кабул, и если он не умер от огорчения, то живет и молодежavo выглядит, как можно молодежavo выглядеть в сто один год. «Он был дедушкой, когда родился мой отец», — загадочно сказал о его возрасте рисальдар Худабаш-хан.

Лариса Рейснер, впрочем, увидела феноменального старичка, когда он со своей свитой, скороходами и пажамы, появился на Елисейских полях у ворот нашего консульства. Четыре конюха вели его серебряно-белого арабского, с пышной гривой и хвостом как у Пегаса, коня в золотой сбруе с бирюзой. Сам же Мухамед-Сарвар-хан ехал в карете; скороходы рысью бежали впереди, сзади блестили мундиры, и шествие замыкал ослик, и на нем, почесываясь, сидел «дивана», блаженный, святой при наместнике.

По обязанности я вел дневник путешествия нашей миссии. 10 июня я написал:

«Сначала беседа носит обычный, бессодержательный характер, потом говорит т. Раскольников о дружбе двух государств, возникшей в тяжелый для Афганистана момент, в год войны с Англией, и он выражает желание теснее связать эти две страны. Отвечает мулла Ахмет-хан, секретарь афганского посольства в Персии. Речь состоит из текстов Корана и славословия его величеству эмиру. Но Мухамед-Сарвар-хан неожиданно произносит несколько резких слов о коварстве англичан. Свита молчит, ест руками плов и икает».

Здесь изложено коротко то, чему мы были свидетелями. Самое важное в этих строках—внезапное превращение древнего старца в мужчину и война. Кремень внезапно дал искру; зеленоватые, заплывшие жиром глазки оживились и вспыхнули, и вдруг старик заговорил о своей молодости и битве при Мейванде, где афганские пастухи голыми руками шли на картечь шотландских батальонов. Сначала шли юноши, почти подростки, еще не видевшие жизни и легко расстающиеся с ней. Полуголые, вооруженные одними камнями. Ломающимися голосами они проклинали «кафиров», оскорбляли их предков, кривлялись и делали бесстыдные жесты. Их скосили за двести шагов, как бы нехотя, нестройными залпами, целясь в ноги, чтобы легко ранить и потом добивать одного за другим, состязаясь в меткости. Потом шли высохшие старики, которым давно пора было умереть, но они хотели умереть в бою, чтобы заслужить рай. Надрывая голоса, они читали нарастающим голосом тридцать шестую сурру Корана Ясин — ее называют сердцем Корана и читают у ложа умирающего. «Клянусь мудрым Кораном, что ты один из посланников...» И многие из них увидели рай, не успев закончить первой строфы: «...на прямом пути. Это откровение мудрого и милосердного...»

Последними вступили в бой самые сильные бойцы; они устремлялись как пущенный сильной рукой метательный

снаряд. Офицер отдавал саблей команду «картечь», потому что человеческого голоса не было слышно в раздирающих уши воплях, и атакующие падали, пронзенные роем пуль, восклицая обращенные к англичанам пророческие строки: «Дождутся только однократного клика, который захватит их в то время, как они будут спорить между собой, не успеют сделать завещания и не воротятся к своим семействам . . .»

Когда девяностолетнего старика Мухамед-Сарвар-хана отправляли в Кабул, в опалу, он сделал весь путь от Герата до Кабула через пустыни, перевалы и горные хребты не в носилках, не в тахтараване, а верхом на коне, как старый, но еще крепкий воин. Он ехал долго, почти три месяца, но не потому, что берег свои силы, а потому что до последней минуты ждал, что народ Герируда прогонит узурпатора и позовет старого наместника. Но его песнь, песнь его эпохи, была спета.

Серия банкетов и взаимных визитов кончилась. Караван готовился к путешествию в Кабул; нам переменяли слабых лошадей, и новый командир конвоя, карнейль-полковник, с усами как у гетманов Украины, представился Раскольникову. Полагалось сделать подарки офицерам прежнего конвоя и мехмандару, и мы вспомнили о часах, обыкновенных карманных часах, которые специально для этого были выписаны по ордеру в Москве. И тут случился исторический анекдот, который тоже следует отнести к эпохе первых дипломатических сношений Советской страны. В московской суете перед отъездом сотрудник полпредства передал ордер в магазин и уехал по другим делам, затем вернулся и принял упакованный ящик. Никто не вскрывал ящика до Герата, а когда явилась необходимость в подарках конвою, то ящик вскрыли и в нем оказалось ровно шесть будильников с портретом бывшей царской семьи на циферблате. Не помню, как мы вышли из положения, но будильники, разумеется, не были пущены в ход.

Перед отъездом, в поисках достопримечательностей, мы еще раз захотели осмотреть базар. Тут была тайная мысль

увидеть наконец вблизи, вплотную народ, который мы до сих пор видели только позади плотной цепи солдат-конвоиров. Затем ни Лариса Михайловна, ни сотрудницы полпредства из уважения к «престижу» до сих пор не были в стенах города. Но базар был хорошо подготовлен к высокому посещению. В галлереях под навесами, где обычно толкуются тысячи людей и всадники и верблюды, была абсолютная пустота. Купцы чинно сидели в нишах своих лавок, через каждые десять шагов стоял солдат. Базар подмели и вычистили, и мы шли по обильно политой водой дорожке. Купцы смотрели в землю, не поднимая на нас глаз; ни одного покупателя не было в лабиринте галлерей, и базар, занимавший почти четверть города, как бы вымер. Так мы знакомимся с народом Герата. Трудно сказать, сколько зуботычин и плетей стоили эта чистота, тишина и порядок. Надо только сказать, что один купец в Кабуле, не совсем точно выполнивший инструкции, был поставлен на дыпочки и прибит за ухо к дверям своей лавки и простоял в такой позе два часа.

Семнадцатого июня мы отправились в дальнейшее странствие в Кабул по Хезарийской дороге и прибыли в Кабул 16 июля, то-есть через тридцать один день. Но прежде чем рассказать об этом замечательном путешествии, я вернусь к обещанной читателю правдивой и с т о р и и полковника Магомета Таги, начальника хоросанской жандармерии. Слово «жандармерия» звучит не слишком приятно для нашего читателя и требует некоторого пояснения.

В то время, когда Персия была разделена на две зоны влияния (северную Персию оккупировала царская Россия, а южную—Великобритания), персидскую жандармерию организовали нейтральные шведские военные инструктора. Этот род оружия был в некотором отношении либеральной силой в политической борьбе персидских буржуазных революционеров с реакцией. Наоборот, персидские казаки, организованные русскими инструкторами и знаменитым полковником Ляховым, боролись на стороне реакции. Таким образом полковник Магомет Таги был либералом и даже

радикалом, сохраняя за собой неприятный для нашего уха чин начальника хоросанской жандармерии. Я видел фотографию Магомета Таги. Свойственные старой расе печаль и скептицизм сохранились даже в этом далеком от оригинала портрете. Люди, знавшие Магомета Таги, утверждают, что это был образованный человек в ориентальном и европейском смысле этого слова. Как многие образованные персы, он цитировал наизусть Омар Хайма и Хафиза и указывал сходство между стихом Омер Хайама

Открой себя, мой брат,
всем запахам, всем
краскам и всем звукам...

и известным стихотворением Бодлера. Он боролся с собой, преодолевая гипнотическую власть, опасное очарование астронома из Мерва, туркмена, поэта, жившего в одиннадцатом веке и в возрасте семидесяти лет оставившего миру сто философских лирических четверостиший. Вместе с Омер Хайамом он смотрел в равнодушные небеса и повторял:

Добро и зло спорят о первенстве на земле.
Небо не отвечает за счастье и несчастье людей, —
Не благодари и не обличай его,
Оно равнодушно к твоей радости и печали.

Магомет Таги, смелый и мужественный человек знал, что в «монастырях, в синагогах, в мечетях прячутся слабые, которых пугает ад». Но дальше его любимый поэт должен был разоружить просвещенного воина. Наука? Что говорил о ней ученый астроном и геометр:

Колесо вертится, не заботясь о вычислениях ученых,
Зачем утруждать себя, зачем считать звезды?
Думай о том, что ты умрешь
И твой прах будет добычей червей и шакалов.

Богатство и власть?

О, пьющий из большого кубка! Я не знаю, кто сотворил тебя,
Я знаю, что ты можешь вместить три меры вина,
И смерть сломит тебя однажды. И тогда я спрошу себя:
Зачем ты рожден, зачем ты был счастлив и почему теперь ты — тлен?

Слава? Любовь? Каждый воин мечтает о славе и
каждый пастух поет о любви.

Белый и вороной конь, конь дня и ночи, мчатся сквозь старый мир.
Мир — печальный дворец, где сто «джемшиди» мечтали о славе,
Где сто «бахрам» мечтали о любви
И проснулись в слезах.

Из всей книги «Рубайат» Магомет Таги поверил и
принял одно четверостишие:

Мое сердце сказала мне: я хочу знать, я хочу все понять,
Научи меня, мудрый Хайам. Я произнес первую букву алфавита
И сердце мне сказала: теперь я знаю. Ты сказал «один».
Единица — первая цифра числа, которое не имеет конца.

Магомет Таги углубился в науку, в «число, которое не имеет конца». Но он не считал звезды, как великий астроном из Мерва, — он обратился к земле и посмотрел на север и увидел там, где сторожил его родину императорский орел, свет пятиконечной звезды. На драгоценных бирюзовых дверях и на минаретах Мешхедской мечети Имам-Риза он видел следы пуль: это были следы пулеметного огня русских казаков, но, как поэт одиннадцатого века, он искал только прохладу и тень в мечетях и не таил обиды. Он научился различать страну Советов и царскую Россию. Его сограждане, азербайджанские турки, кавказцы, рассказывали ему о том, что произошло на севере. Они рассказывали Магомету Таги и о военных судах под красным флагом, прогнавших англичан из Энзели. Круглолицый толстый юноша — Ахмет-шах на почтовых марках, Ахмет-шах на персидских туманах возбуждал гнев и презрение в сердце Магомета Таги. Персидский Ризго был одинаково равнодушен и к династии Каджаров и к династии Пехлеви; золотой шахский трон и сияние шахских бриллиантов и слава Надир-шаха не ослепляли его; он понял, кто управлял кукольным театром персидской истории и чья рука дергает за нитки марионетки султанов и шахов. Он читал

газеты и брошюры на тюркском языке, приходившие из-за северного рубежа, на французском языке он читал классические труды экономистов и манифест, который начинается словами: «Призрак бродит по Европе, призрак коммунизма...» Однажды ночью товарищи Магомета Таги и его солдаты разоружили персидских казаков и прогнали из Мешхеда назначенного шахским правительством губернатора. Хоросан—синоним богатства и плодородия—отделился от шахской империи. Новый правитель хоросанской провинции Магомет Таги позвал к себе старшину мешхедских купцов и сказал:

— Вы самый богатый купец в Мешхеде, и вы старшина купцов. Мне нужны деньги. Я хочу, чтобы бедные жили нисколько не хуже богатых.

— Аллах велик, — сказал старшина, — каждому нужны деньги, Ахмет-шаху, прежнему губернатору и тебе. Но денег нет. Засуха. Неурожай. Нет рынка — Россия не покупает...

— Молчи! — воскликнул Магомет Таги, — я посажу вас в тюрьму и отниму все, что есть у вас...

— Аллах велик, — сказал старшина купцов. — Магомет-шах, Ахмет-шах и три губернатора грозили мне тюрьмой. Каждому нужны деньги, а денег нет. Неурожай. Засуха. Магомет-шах повесил моего отца. Мирза-шах ослепил деда, а денег нет и нет. Каждому нужны деньги. Прежнему губернатору и тебе. Но лишняя тысяча туманов для тебя...

— Ты меня не понял, — мрачно сказал Магомет Таги, — пошел вон, старый дурак, — и читал до глубокой ночи газеты и книги и утром позвал главного муллу.

— Мулла Гусейн-Гуль, — сказал Магомет Таги, — неправильно учат в ваших школах и медресе. Муллы учат детей глупостям, детей надо учить математике, географии и политической экономии. Я хочу запретить вам обучать детей.

Мулла Гусейн-Гуль молчал.

— Потом я хочу, — продолжал Магомет Таги, — за-

претить вам считать народ, и еще хочу... Что ты хотел сказать?

— Я молчу, — сказал мула Гусейн-Гуль, — близится праздник Шахсей-Вахсей, правоверные возьмут в руки ножи и сабли; они будут плакать и в горести восклицать «Али» и резать себя ножами, и кровь и слезы будут течь по лицу и носу их.

— Еще что ты хотел сказать?

— Из окна твоего дома виден базар-Арк. Железная цепь висит в базаре-Арк. Один неверный вчера прошел по святой земле, и от него не осталось ни клочка. Три тысячи человек терзали его труп и не оставили ни клочка. Что ты хотел сказать?

Магомет Таги молчал и мулла Гусейн-Гуль приложил руку ко лбу и вышел. Он пошел прямо в «сафират-энглези», генеральное консульство Великобритании и когда он вошел к сафиру-энглези, генеральному консулу, то застал там старшину мешхедских купцов, и оба сказали друг другу в один голос: «табиат-шма-хуб-аст» — то-есть, в добром ли вы здорovsky.

Сафир-энглези сорок лет сидел на своем месте — он знал свой округ и людей и сочетал британское коварство с азиатским и жестокость британца с азиатской жестокостью. Когда полковник Магомет Таги переехал в губернаторский дом, сафир-энглези назначил Магомету Таги время для свидания, но не получил ответа. Он даже сам был готов поехать к Магомету Таги с почетным эскортом кавалеристов, в сопровождении консульского конвоя из сипаев. Так некогда ездил по городу Мешхеду его превосходительство императорский российский генеральный консул, с казачьей полусотней впереди, и казачий подхорунжий бил нагайкой персидских крестьян, не во время оказавшихся на дороге. Сафир-энглези смотрел на старшину купцов и главного муллу; он знал каждого из них по два-три десятка лет, он знал каждого в округе Хоросан.

— Известно ли вам, — сказал сафир-энглези, — о чем он вчера говорил со своими кавказцами? Он хочет

закрыть базары. Он хочет закрыть лавки и сделать одну большую лавку, где будут раздавать даром товары бездельникам и нищим Мешхеда.

— Закрыть базары, — подумал вслух старшина, — закрыть лавки, караван-сарай и чай-хане? Базар существует две тысячи лет. Невозможно.

— Но он сказал: надо закрыть базар и . . .

И сафир замолчал, потому что вошел секретарь и два молодых человека в косматых высоких шапках. Это были дети Бужнурского хана. Они возвращались к отцу из Тегерана.

— Азрет Али сафир-саиб, — начал старший, — сегодня Магомет Таги позвал нас к себе: Скажи Бужнурскому хану, скажи всем курдским ханам, говорит он, что отныне я запрещаю брать подать с крестьян, что я запрещаю им судить крестьян и что земля ханов больше не ханская земля. Что вы скажете, Азрет Али? Он посылает с нами двух своих людей с письмом к народу и ханам. Что вы скажете?

— Надо ехать, — сказал старый сафир-энглези и встал.

Уже около месяца Магомет Таги владел хоросанской провинцией. Народ слушал речи мятежников, народ читал листки против богачей и духовенства и колонизаторов-англичан. Уже в караван-сараях смеялись над сафир-саибом и говорили о том, что хорошо бы посчитать серебряные туманы в сундуках мешхедских богачей и посидеть в тени взорных палаток в их загородных садах. Однажды ночью Магомета Таги разбудил восемнадцатилетний Атаев, тюрк из Энзели. Он сказал:

— Бужнурский хан прислал тебе в подарок куржум. В нем две головы, головы тех, кого ты отправил к нему вместе с его сыновьями. Я был прав; молодых ханов надо было оставить заложниками.

— Не понимают, — с печалью сказал Магомет Таги. — Что я должен сделать, я сделал. Я читал книги: по книгам я должен был занять вокзал и телефонную станцию. Но в Хоросане нет железных дорог и нет телефонной стан-

ции. Теперь я знаю, что делать, и знаю, откуда смелость Бужнурского хана.

И утром он совершил поступок, который привел в трепет и изумление его врагов и обрадовал его товарищей и народ Мешхеда: он арестовал сафира-энглези в генеральном консульстве Великобритании. И в тот день, когда сафир-энглези увидел в ограде консульства солдат Магомета Таги, он впервые за сорок лет вышел из себя. Бужнурский хан получил все, что просил, — оружие и деньги. Ему пообещали звезду и титул. Он собрал феодальных князьков и сказал им, что Магомет Таги покончит с их привилегиями и неограниченной властью и что нельзя надеяться на шахские войска. Магомет Таги был смел, он в общем не обольщал себя надеждами и умел смотреть в глаза правде. Он знал, что регулярные войска ненадежны, что духовенство, купцы и чиновники Мешхеда его явные враги. Он видел, что простой народ все еще в плену у духовенства и что на его стороне только несколько тысяч кавказцев, азербайджанских тюрок, переселившихся сюда при царе и думающих о возвращении в страну Советов. И когда курды Бужнурского хана появились вблизи Мешхеда, Магомет Таги с несколькими десятками кавказцев оставил город и пошел навстречу Бужнурскому хану. Они попали в засаду и были окружены курдами. Часть сторонников Магомета Таги убежала, другие погибли. Он сам был смертельно ранен; он поцеловал убитого рядом с ним Атаева и умер у пулемета. Бужнурский хан отрубил ему голову и отправил ее в Тегеран. Сафир-энглези отправил туда же подробное секретное донесение. Дальше начинается творимая легенда, вернее история, которая творится как легенда. Магомет Таги пал в честном бою, и потому его обезглавленный труп выдали родственникам для погребения. Тело Магомета Таги встретили тысячи. Розы садов Мешхеда лежали под колесами арбы, на которой везли тело. Тюркские женщины плакали, раздирали себе лицо ногтями и разрывали на себе одежду. А купцы Мешхеда, жизни которых и богатству уже не угрожал Маго-

мет Таги, в радости и веселии раздавали пищу дервишам. Затем в Мешхед пришли шахские войска, был розыск, пытки и казни — все, что бывает после неудачного восстания. Но единственный фотограф открыто размножил фотографию Магомета Таги. И мне привезли один портрет из Мешхеда.

Историки, изучающие социальные движения среди народов Востока, отметили у себя в труде мятеж Магомета Таги и его товарищей. Бродячие певцы поют в полголоса обиженным и голодным о жизни и смерти Магомета Таги. И так как они знают наизусть «рубайи» Омер Хайама, как знал их персидский Риэго, офицер и бунтовщик, они кончают эту песню четверостишием:

Когда ты падаешь ниц под бременем скорби.

Думай о зелени, оживающей после дождя,

Когда жаркий день ослепил тебя и ты готов принять вечную ночь,

Подумай о пробудившемся младенце.

Восстание Магомета Таги произошло в конце 1921 года в шести днях пути от Герата. В то время в городе Герате девяностолетний старик Мухамед-Сарвар-хан, в длинной афганской рубахе «пейран», без шальвар, сидел на террасе дворца и, прихлебывая чай, судил народ, а гератские палачи вешали на Чаар-су убийцу, рубили правую руку вору, укравшему курицу, и вырезали язык курильщику анаши, хулившему имя пророка.

17 июля 1921 года караван нашей миссии обогнул восточную башню Герата.

Хезареджат, страна хезарийцев, лежал перед нами — долины, плоскогорья, горные цепи и выючная тропа, не без лесты называемая географией Хезарийской дорогой. От Герата до Талкири — восемнадцать километров — с нами шли экипажи. Колесная дорога кончилась у ворот рабата. Чтобы не возвращаться к описанию этого своеобразного, игравшего роль в наших странствиях, места, я попробую описать рабат сразу и коротко. Рабат — стан-

ция, вместе с тем укрепление, форт, маленькая крепость. Представим, что дети колоссы, дети великаны грубо вылепили из глины игрушечную крепость, прямоугольник с четырьмя башнями по углам. Внутри двора — походная мечеть, по стенам — полутемные землянки-ниши с дырой в потолке для выхода дыма. Ворота выходят на восток, стены и башни приспособлены для обороны, но осели от времени, весенние дожди размыли бойницы, и все сооружение рассыплется от выстрелов трехдюймовой пушки. В бурные средние века на опасных караванных путях рабаты были тихой пристанью и защитой путнику. Я мог бы рассказать о разнице в устройстве рабатов Гератской провинции и Кабулистана, о скорпионах и фалангах, верблюжьих клопах, об алчных гундарах — смотрителях рабата, но это детали, имеющие значение для иностранцев; для афганцев это прочный и устоявшийся быт. Экипажи вернулись в Герат; мы с некоторой грустью простились с громоздкими старыми каретами. Европа распрощалась с нами в половине девятнадцатого века.

Товарищ С., генеральный консул в Герате, угрюмо пожелал нам счастливого пути. Он вернулся в Герат, в «баг-и-Шахи», снял пиджак и алые бриджи, надел бухарский халат и взял в руки гитару. Он поставил ногу на низкий подоконник и, меланхолично дергая струны, с настоящим отчаяньем смотрел на рисовые поля, стены и башни, минареты и прочее. Фурункулы и карбункулы, испарина, душевные бессонные ночи, малярия — год Гератской жизни — замучили мужественного дипломата. Он отложил гитару, пошел в канцелярию и сочинил депешу в три адреса и в девятый раз категорически потребовал отозвания. Комендант и начальник афганского конвоя Худабаш-хан попробовал ему подсунуть фантастический счет за саман, который сверх нормы давали лошадям миссии, но генеральный консул сверкнул на него глазами, и рисальдар, как оперный чортик, провалился в люк винтовой лестницы. Товарищ С. прошел в свою раскаленную солнцем, похожую на тюремную камеру, комнату, сдернул с кровати вишнево-алые

бриджи, воспоминание о милом военном прошлом, и повалился на кровать в изнеможении и жестокой ностальгии. Вишнево-алые бриджи лежали на полу и уводили мысли генерального консула далеко от Герата, в милый Ташкент, к друзьям и боевым товарищам: Не знаю, откуда попало в армию это алое сукно; говорят, его взяли в несметном количестве в складах бывшего эмира Бухары. Я видел его на штабных работниках Туркфронта, на красноармейцах и политработниках — все равно кавалеристах или пехотинцах. Я видел его на моем славном друге, краснознаменце и начальнике гарнизона Ташкента, Льве Михайловиче, заслуженном боевом красном командире, с редкими странностями и чудачествами: В Ташкентском общежитии запросто ходил по коридору, грохоча копытами, его боевой конь. Командир въезжал на коне в свою комнату, и бывало так, что хозяин спал, прямо на полу, в полуденный жар, когда жизнь замирает в Ташкенте, а конь стоял над хозяином, обмахиваясь хвостом от мух. Обыкновенные люди никак не могли примириться с командиром и конем, гуляющим по коридору, и они причинили не мало беспокойства его хозяину. Но в Москве они все же перетянули струны, и когда Льва Михайловича строго спросили: «Совсем спятил в Ташкенте? Говорят, на пятый этаж верхом въезжал?» командир ответил кратко и по-военному: «Брешут. В Ташкенте выше двух этажей дома нет». Ему простили и на этот раз, потому что это был редкий в бою и в товариществе парень, герой и лихой наездник. Раз я вспомнил давние встречи, надо сказать и о моих спутниках-товарищах по Балтике и по Кабулу. Семен Михайлович Лепетенко был главкомом и диктатором каравана в нашем путешествии в Кабул. Он не признавал жары и тропического солнца; он не закрывался от солнца ни пробковым шлемом, ни вуалью, ни очками-консервами. Он ездил вдоль каравана взад и вперед с самодельным русско-персидским словарем в руках, распекал и подтягивал и наводил порядок в переселении народов и Вавилонском столпотворении. Он не вникал в отношения всадника и лошади; для него не существовало

плохих наездников, и он недоумевал, почему бухгалтер Ц. не едет в указанном ему месте, рядом с денежным ящиком, а носится в стороне от каравана. Между тем у бухгалтера Ц. был резвый и неутомимый конек, неприученный к медленному шагу вьючных коней. Он не ставил в грош своего всадника и носил его по ущельям, обрывам и кручам, и выходило так, что бухгалтер Ц., тихий и флегматичный человек, увеличивал вдвое обыкновенный денной перегон. К вечеру, выбившись из сил, на взмыленном, но все еще бойком коньке, он подъезжал к Семену Михайловичу и беспомощно восклицал: «Ну вот... а еще говорят — лошадь умное животное». Но самыми замечательными спутниками были матросы из конвоя миссии — восемь военных моряков бывшего походного штаба комфлота. Восемь молодых атлетически сложенных парней, раздобревших на афганском пайке, на рисе, баранине и жирном супе «шурба». В конце концов они заскучали по щам и оладьям, но в первые дни путешествия афганцы собирались вокруг них и смотрели с немим восторгом, как матросы управлялись с барашками и белоснежной горой ханского рису. Потом они накнулись на дыни, абрикосы и виноград, запивая их известковой мутной водой из арыка. Доктор Дэрвиз поднимал глаза к небу и восклицал в неподдельном ужасе: «Товарищи! Но холера, но подумайте — азиатская холера...» Матросы посмеивались, сверкали зубами, похохатывали до тех пор, пока однажды в Кабуле желтая гостья не остановилась у изголовья пулеметчика Зентика и не оставила его навеки в сухой и твердой афганской земле. Зентик умер в Кабуле и похоронен на горе за оградой мусульманского кладбища, над мечетью султана Бабэра, завоевателя Индии и Средней Азии. Серп и молот и короткая эпитафия на камне, одинокая плита в горах была единственной советской могилой в чужой стране за тысячу километров от советской границы. Мы все вместе составили эпитафию над могилой революционного матроса; Лариса Михайловна прочла ее вслух и голос ее дрогнул. Пулеметчик Зентик был первый в бою, на коне и в русской пляске, в «Баг-и-

Шахи», в Герате за два месяца до конца своей короткой, смелой и честной жизни. Мы пришли к нему прощаться в его последнюю кабульскую ночь. На кошке лежал обтянутый тонкой пленкой кожи скелет — все, что осталось от русского веселого гиганта, двадцатилетнего, красивого как Зигфрид, парня. Он агонизировал; сжимались и разжимались пальцы руки, и ногти царапали деревянную стену; тридцать два, слоновой кости, зуба обнажились и сверкали нестерпимым блеском. Два его лучших товарища — Харитонов и Астафьев — непоколебимо играли в шашки. Третий его закадычный друг стоял над Зентиком и прикидывал глазами мерку для гроба, гроб сколачивали тут же, в полпредстве (афганцы не сумели сделать стандартного европейского гроба). Доктор Дэрвиз делал вид, что следит за партией в шашки. Он курил и злился. В сущности ему тут уже нечего делать. «Отгулял», — сказал Астафьев и взглянул на умирающего. Лариса Михайловна наклонилась над Зентиком и положила ему руку на лоб, и доктор Дэрвиз поморщился: «Я хотел сказать... я хотел сказать — не рекомендуется. Азиатская холера, хотя, конечно...» Он провожал нас, шел позади и невнятно бормотал: «Железное тело, каменный организм. Вынес первый приступ и пошел смотреть, как мы играем в футбол. Потом, если хотите знать, он съел арбуз и выпил бутылку самодельного квасу — и конец. Сумасшедшие люди. Я их спрашиваю: зачем вы ему позволили? А они говорят: мы думали, он уже здоровый». Утром мы провожали обитый кумачом гроб. Толпа афганцев стояла на горе и смотрела, как хоронят «кафира» — неверного. Семь ружей дали траурный залп над могилой. Четыре дня назад он был самым сильным из восьми молодых атлетов. Они возились на траве, бегали взапуски. Ермошхан, бывший боцман Ермошенко, с некоторой завистью смотрел на них. Он был комендантом, ему полагалось по чину не баловаться и подавать пример младшим. Он внушал к себе уважение, афганцы почитали его как одного из первых наездников в Афганистане — стране природных

наездников. Когда в этом была необходимость, он в шесть дней, загнав в пути трех лошадей, доехал до Герата, а в семь дней — до Кушки. Вечером, в освещенных электричеством аллеях Чамана, Ермош-хан иногда появлялся на коне, вызывая почтительную зависть афганских кавалеристов. Из средней лошади он умел выжать качества и резвость, показать лошадь так, что она соперничала с тысячными арабами, текинцами и карабаирами. Олимпийские игры во дворе полпредства продолжались до тех пор, пока не вывихнули руку самому молодому из охраны и врачи полпредства на две недели получили нового пациента. Тогда развлечением для матросов стал военный моряк Ваня Жданов, широкоплечий коренастый человек с лицом Кузьмы Пруtkова, украинец с нежным и ветренным сердцем. Матросы говорили, что он женится в каждом городе, чуть не на каждой станции, где застревал эшелон, когда шел из Москвы в Кушку. Мы были свидетелями его разговора с начальником эшелона: он просил справку и удостоверение в том, что «военный моряк Ваня Жданов в законном браке не состоит». До сих пор добрый товарищ ни разу не отказывал ему в такой справке, пока об этом не проведал Семен Лепетенко. В последний раз Ваня Жданов женился в Кушке. Он караулил грузы полпредства и не мог устоять перед дивчиной из Михайловского хутора. Он застал меня уже в Герате, где люди за два года ни разу не видели женщину без чадры. Вечером, когда спал невысшимый зной, он начистил до зеркального блеска башмаки, надел чистую форменку, распустил клеши и попросился в обнесенный двадцатиметровой стеной старый Герат: «может устречу якуюсь-нибудь». Через два дня он понял обстановку, загрустил и попросился в Кабул. На груди и на боку у него были глубокие шрамы. Только железный организм матроса мог зарубцевать такие раны. Ваня Жданов нежно, но очень странно заботился о своем здоровье. В лекарствах и врачей он не верил и на дорогу в Кабул попросил себе от всех дорожных бедствий одну головку чесноку. Здоровые и веселые люди томились в вынужденном без-

дельи и рвались на родину. Они легко меняли сытую жизнь на голод двадцать первого года. Они просились домой и в тот день, когда радио приняло первую трагическую радиограмму о засухе и небывалом бедствии — голоде в Поволожье.

В тот единственный вечер не было ни песен, ни веселой возни, ни шуток под столетней чинарой во дворе советского полпредства.

Мы постепенно втягивались в путешествие. Первые шесть дней в долине Герируда, в облаках меловой пыли и невыносимом зное — самая скучная и утомительная часть пути. Караван двигался, соблюдая порядок, исполняя сочиненные Семеном Михайловичем инструкции, радуя сердца красных командиров, начинающих дипломатов. В голове ехал на серебристо-пегой лошади афганский полковник, командир афганского конвоя. Его большой иноходец шел, приплясывая легким, танцующим шагом; всадник ехал, сложив руки на животе как бы в дремоте, и длинные черные усы запорожца спускались ему на грудь. За ним ехали афганские кавалеристы, потом Ф. Ф. Раскольников и наиболее представительные и лихие из наших всадников, дальше — тахтараваны и наши зауряд-кавалеристы, еще дальше, гремя кладью и бряцая цепями, множество выючных коней и в хвосте — баран-феномен, с костяными шарами вместо рогов, подарок наместника эмиру, и при баране в придачу два коня невиданной красоты и злости. Когда мы приезжали на рабат, час времени уходил на то, чтобы разместить табор, напоить и накормить сто человек и полтора ста лошадей. Теперь мне ясно, что мы были чуть не стихийным бедствием для провинции, по которой ехали. Это происходило глупым образом потому, что мехмандар и величественный полковник основательно поправляли свои дела за счет окрестного населения. Ночью мы поднимались на башню, и спящий лагерь лежал внизу как половецкий стан или ханская ставка — костры, кони афганских солдат, значки на пиках, оружие, горы клади, часовые, и над всем этим — серп новолуния, эмблема ислама, тонкий

серб полумесяца. Уже не один хребет Паратамиз и не одна кривая афганская сабля легли между нами и советской границей. С каждым днем мы углублялись в горы и в чужую страну. Труба будила нас на рассвете, табор поднимался с гамом, суетой и разноязычными воплями, которые могут издавать только южане. Походные кухни срывались с места первыми. Мы не спеша пили зеленый чай на разостланной среди двора кошме и последними выезжали из ворот рабата. Гудандар, приложив руку ко лбу, произносил «бааманэ худа», что значит «поручаю вас богу». С таким высоким поручительством, в надежде на заботу высших сил, мы шумно покидали рабат и растягивались на полкилометра по пыльному следу коней и верблюдов, выбитому в сухом и твердом грунте. В один из дней мы пренебрегли тщательно разработанной инструкцией движения, нам надоел медленный шаг каравана, и мы стали опережать авангард и приезжать на рабат на два часа раньше нашего табора. Так, оторвавшись от каравана, мы пятеро ехали над рской Герируд по карнизу шириной в метр. Герируд струил под нами голубые и синие и зеленые воды, образуя круглые, пенные водовороты, напоминающие цветом павлинье перо. Сильное и стремительное течение заставляло нас торопиться и подгонять коней, хотя жаль было покинуть эти места и расстаться со скалами — хаосом геометрических фигур, нагроможденным над горной тропой. Еле заметная тропа поднималась в гору и круто, под углом в тридцать градусов, спускалась вниз, и ужасное сооружение — тахтараван — чудом сползал вниз по тропинке шириной в шаг. Передняя лошадь осторожно искала место, куда опустить копыта, задняя не видела ничего кроме чехла тахтаравана; седок съезжал вниз и с вытаращенными глазами слушал, как скрежещут подковы, как иступленно орут погонщики и катятся в пропасть камешки. В цирке такой номер сопровождался бы барабанной дробью и особым анонсом публике. После шумных споров с нашим главкомом каравана пять-шесть всадников во главе с Ларисой Михайловной завоевали себе право опережать караван, и мы без стесне-

ния оставляли позади и танцующую лошадь полковника, и конвой и ехали на два-три километра впереди, меняя аллюры, распевая песни, пренебрегая дорожными страхами, афганскими разбойниками, упоминаемыми путешественниками по Центральной Азии. Мы пересекали абрикосовые рощи. Абрикосы росли, как у нас растет дикий орешник. Они лежали золотым ковром прямо под деревьями. Сначала их ели, потом собирали в шлемы, потом набивали седельные сумки, и наконец, пресыщенные излишеством, мы равнодушно смотрели, как копыта коней безжалостно топтали золотые плоды.

Мы оставили последние селения в долине Герируда. Под нами, внизу, в долинах, как черные разостланные платки, лежали шатры кочевников. Кладбища и одинокие могилы предупреждали о близости людей, но люди жили где-то в стороне. Из ущелий появлялись обугленные солнцем, необыкновенно тощие старцы, появлялись и исчезали, побрызгав водой перед копытами наших коней. Это означало, что страннику оказан почет: вода — самое дорогое в пустыне. Но за почет следовало все же платить, и мы платили серебряными кранами, монеткой с именем эмира и мавзолеем султана Бабэра. Герируд то появлялся, то прятался в горах, Афганистан отгородился с севера и с запада четверной линией горных цепей. В последний раз мы увидели Герируд и перешли его вброд, любуясь изумрудным течением, радуясь освежающим брызгам. Мы сделали привал у могилы неизвестного святого. Конский хвост понуро висел на шесте, черепа буйволов и их рога наводили уныние; это было неподходящее место для привала. Кто он был и что делал в прошлом неведомый святой — на это нам не мог ответить даже всезнающий ориенталист доктор Дэрвиз. Но он обрадовался случаю и прочитал нам невразумительную лекцию о султани Махмуде. Великолепный мавзолей мы оставили вправо и долго оглядывались на купол, похожий на индийскую пагоду. Три человека, трое смертных, некогда владели Индией, Персией и Туркестаном — три гробницы лежали на нашем пути; гробница

Тимура в Самарканде, гробница султана Махмуда на перегоне Ходжа—Чишт—Хорзар и гробница султана Бабэра в Кабуле. Если бы не солнце и не дорожная усталость, можно было бы приблизиться к гробу султана Махмуда и наспех пофилософствовать о тщете земной славы и попробовать подняться поближе к неприступным скалам, где в пещерных городах горцы отбивались от завоевателей севера и юга.

Жизнь течет. Что стало с Багдадом и Балхом?

в горести спрашивает Омер Хайам. Багдад — конечный пункт автомобильного сообщения Тегеран—Багдад, резиденция британских колониальных чиновников и авиационная база. Балх лежит в развалинах как Александрия Маргианская — Мерв, как десять государств, десять великих городов, стертых с лица земли Чингис-ханом. Города процветали, зодчие строили дворцы, библиотеки, мечети и мавзолеи, ученые открывали закон земного притяжения раньше Исаака Ньютона, поэты состязались в изяществе стиха, султаны странствовали инкогнито под видом дервишей. Из Кордовы, Феца и Триполи, из Стамбула шли караваны, но «дуновение ветра опасно распутившейся розе». Библиотеки и дворцы и мавзолеи обращены в развалины, оросительные каналы, ирригационная система, до сих пор приводящая в изумление специалистов, — стерты с лица земли, и отважные археологи по остаткам стен и башен и летописям современников пробуют восстановить в нашем представлении эпоху расцвета государств Средней Азии и катастрофу, которая прекратила их существование. Эта катастрофа загнала просвещенных правителей-меценатов в недоступные ущелья, пещерные города; она обратила зодчих и врачей, и астрономов, и поэтов в диких зверей, укрывающихся в пещерах от орд Чингис-хана.

«Тот, кто узнает об этом их безрассудстве (безрассудстве разрушителей), будет грызть палец изумления зубом удивления», — пишет Рашид-ад-Дин, историк Чингис-

хана. И он проникает в психологию великих разрушителей и приводит замечательный разговор между Бурджи-Нойоном, главой беков и Чингис-ханом:

— В чем состоит наслаждение и ликование человека?

— Наслаждение и ликование человека состоит в том, чтобы взять на руку сокола синецветного, которого кормили керкесом и который зимой переменял перья, и правильные перья и, сев на хорошего мерина, охотиться ранней весной, и одеваться в красивые платья и одежды. — Так говорит Бурджи-Нойон, глава беков.

«— Наслаждение и блаженство человека состоит в том, — говорит Чингис-хан, — чтобы подавить возмущившегося и победить врага и вырвать его из корня, взять все, что он имеет, заставить вопить служителей его, заставить течь слезы по лицу и носу их, сидеть на приятно идущих жирных меринах их, сделать живот и пуп их жен постелью и любоваться румяными щеками их и алые губы целовать...»

В библиотеке или за рабочим столом можно объективно и хладнокровно толковать с собеседником о гибели древнего Мерва, о Чингис-хане, но под луной Афганисгана, когда афганская луна светит в темные зевы пещер над головой у путника и вокруг — ханская ставка эпохи Чингис-хана, мы говорили об этом прошлом, точно оно вчерашний день. «Напомните мне, — сказал засыпающий доктор Дэрвиз, — напомните мне, и я расскажу вам о моей поездке из Герата в Мешхед через Кафаргалу и о мертвом городе восемь фарсах в окружности — городе большем, как Вена. Там жил миллион людей, пока их не вырезал Чингис-хан. Напомните, и я вам расскажу...». Последние слова он произнес невнятно, потому что сорок километров, семь часов в седле, сделали свое дело, и мы приехав на рабат Хорзар, повалились на кошму и очень скоро заснули так, как спят только в молодости и в походе. Мы спали как мертвые и никто не думал о том, что до советской границы пятьсот километров и что мы в сущности почетные пленники. Мы плохо разбирались в подводных течениях

и омотах непрекращающейся политической борьбы за влияние и власть в Афганистане. Ласковый и кроткий назир наместника, конечно, ненавидел нас тайно и жгучей ненавистью. Он грустил о тихих, идиллических временах эмира Хабибулы, когда Афганистан был запретной страной для неверных, он любил английское золото и патриархальный быт старого Афганистана. Он целовал стремя молодому эмиру Аммануле-хану, а через девять лет поцеловал стремя у «сына водоноса» Бача Сакао, потому что это был конец реформам и автомобилям и электричеству и дружбе с «неверными» — большевиками. И если бы в эту лирическую лунную ночь прискакал всадник, гонец из Кабула, и задыхаясь рассказал назире о том, что во дворце Дэль-Куша сидит новый эмир и вернулось доброе старое время, возможно — ни один из нас не увидел бы крепостных ворот Кушки и алого знамени с буквами РСФСР.

Хорзар—Танге Азао — самый трудный и утомительный переход Хезарийской дороги. Восемь перевалов, восемь подъемов и спусков, сорок пять километров по безводным долинам, по спиральным узким тропинкам, и наконец награда путнику — ущелье на середине пути, одно из чудес, которые изобретает природа на зло и в зависть гениальным фантастам-художникам. Две стены в тысячу метров высоты, багряно-красные, обогранные закатом, образовали фантазмагорическое ущелье. Мы ехали по ущелью около получаса, изумляясь и не скрывая некоторого страха перед чудовищной, стихийной силой земли. По всем правилам арабской мифологии, по законам волшебных сказок в конце ущелья должен был спать восьмиголовый дракон. Какие вулканические сдвиги наворотили здесь две стены, два отвесных утеса, и разбросали обломки скал величней с двухэтажный дом? Тропинка узенькой ленточкой огибала эти обломки и в ущельи была особенная тишина, и стук копыт и голоса звучали как в погребке. Иногда от вершины утеса отрывался камешек весом в тонну и падал с грохотом залпа из двенадцатидюймовых

и разбивался в пыль, не причиняя вреда всадникам, потому что утес нависал над дорогой. Современник не слишком почитителен к стихийной силе природы, и через полчаса мы уже говорили о том, что бы произошло с красным ущельем, если бы афганцы устроили ему рекламу во всех европейских отелях и бюро путешествий, и экспресс Пешавер—Кабул—Герат (воображаемый экспресс) привозил бы сюда воображаемых туристов — поджарых немцев-альпинистов и барышень с кодаками—и на тысячеметровом утесе вспыхивали бы электрические буквы: «Ориент-Отель—Тысяча комнат. Комфорт. Все виды спорта»; или «Компания трансатлантических рейдов Париж—Дэли—Пешавер—Танге Азао». На этом кончились шутки, потому что мы сделали сорок пять километров и не встретили ни одного горного ручья; люди и лошади страдали от жажды, и восемь перевалов и девять часов в седле угомонят любого остряка. Мы приехали на рабат почти ночью; утром нас подняла труба, и мы увидели над игрушечной крепостью рабата ослепительно белую гору, но это были не вечные снега, а высочайший меловой утес. Мы поднялись на утес и внизу под нами увидели растянувшийся тремя зигзагами на целый километр наш караван, и лошади в хвосте каравана показались не больше жуков. В сущности мы двигались как древние греки, как македонская фаланга Александра по путям, не отмеченным на карте. Разница была только в том, что греки верили в античную географию и предполагали увидеть за любым перевалом бездну, обрыв в бесконечность, конец мира. «Тебя спрашивают о Зюль-Карнейне,—говорит Коран,—скажи, я прочитаю вам повесть о нем». И Коран говорит, что Александру дано было итти до того места, где заходит солнце, и, наконец, после долгих и славных походов воздвигнуть стену из меди и железа для защиты мира от «едва понимающих какую-либо речь народов Гог и Магога». И стена эта будет стоять до страшного суда. Об Александре в тот день много говорила Лариса Михайловна, и очень скоро мы углубились в вольное толкование Корана, и стена из меди и железа толковалась как

блокада, а народы Гога и Магога... Ну, словом, ни один ученый мулла не одобрил бы таких комментариев. Кстати о мулле. Помянув Искандера, Зюль-Карнейн, мы неожиданно перешли к песням. Матрос Харитонов вынул из дорожного мешка гармонь, и мы с уханьем и свистом, и песнями ехали рыжью по благополучному месту дороги, и тут, среди гор и ущелий, в полутысяче километров от Индии, появился мулла. Он ехал на жирном и сытом жеребце, сытый и дородный величественно сидел на подушке и не торопясь перебирал четки. За ним ехал на осле тощий слуга и клевал носом в ослиные уши (они торчали как концы пышно завязанного банта). Дальше шла запасная лошадь с палаткой и утварью; мула возвращался из дальних странствий—может быть, из самой Мекки. И вдруг всадник и его конь окаменели, а слуга едва не упал под ноги ослу: прямо на них ехало существо, женщина в сапогах и мужских шароварах и шлеме со звездой и пела непонятные песни, и рядом гарцовали, ухали и свистали и орали песни невиданные люди. Джигитовал Зентик, и приплясывал в седле рыжий доктор, и гармошка выходила из себя. И это было в сердце Афганистана, в пятистах километрах от Кабула, в ста километрах от человеческого селения. Лариса Михайловна увидела сумасшедшие глаза муллы и зияющий как пропасть рот, и оценила комизм положения. Мы проехали мимо муллы и его слуги и когда оглянулись, то увидели их в том же положении — окаменевших от изумления на дороге. Они даже не повернулись и не посмотрели нам вслед. Для них не было сомнений: они увидели шайтана и демонов. Через час они повстречались с караваном и, может быть, что-нибудь и поняли, увидев подобных нам людей, но вернее всего мулла на всю жизнь поверил, что видел самого дьявола со свитой.

Смешное и печальное, веселое и страшное не уходило из поля зрения Ларисы Рейснер. Острый взгляд литератора позади экзотического парада и пышной восточной буффонады открывал темный, косный и страшный в своей не-

подвижности звериный быт. Позади сладкоречивых и вкрадчиво ласковых людей в сиреневых френчах и оранжевых ремнях и крагах она видела хромого водоноса, поливающего цветочный ковер в саду наместника. Она замечала афганского солдата, валяющегося в бреду, без чувств прямо на дороге в жесточайшем припадке тропической малярии. Она видела узкогрудого, чахоточного каракеша с розовой пеной на губах, полуослепшего от пыли и солнечного сияния. Пять выючных лошадей, соединенные одной цепью, несут на себе желтые окованные железом сундуки, и он срывает бессильную ярость на лошадях, он бьет по глазам заднюю лошадь и бросает острые камни в переднего коня. Грубая горная сандалия натерла до крови ногу погонщику. Он снимает сандалии и бежит босыми ногами по раскаленному песку. Но земля жжет, как раскаленный металл, и он снова надевает обувь и бежит подгоняя коней, и когда уже нехватает человеческих сил переносит боль и усталость, он лезет на коня и сидит скрестив ноги поверх сундуков. Короткий отдых до первого подъема или спуска. Вот афганский унтер, старик, седобородый ветеран, похожий на николаевского солдата. Он едет на тощей горной лошадке и поет хриплым и высоким голосом тоскливую песню, не песню, а долгий вопль, стенание на одной высокой ноте. Под его выгоревшей, цвета хаки, курткой раны и рубцы от плетей, и рубцы плетей—страшнее зажившей раны. Хезарийцы... Вассальное, презираемое, обираемое афганцами племя... Тупая покорность и безнадежность и загнанная вглубь тлеющая ненависть в каждом земном поклоне хану и начальнику. Однажды за стеной рабата солдаты били плетями провинившегося слугу. Я никогда не видел Ларису Рейснер в таком гневе и отчаянии от сознания нашего бессилия. Она обрушила гнев на своих спутников. Кто-то сказал, что нельзя «вмешиваться во внутренние дела». «Вранье! Чепуха! Они издеваются над нами! Стервецы-сатрапы! Они знают, что мы большевики, они знают, что мы не должны с этим мириться, они испытывают нас! Скажите им, что мы привыкли жить по другим законам, что

мы не можем этого позволить. Скажите им — они поймут! Еще лезут с поклонами — гадины!»

Мы пересекали плоскогорье, двенадцать тысяч футов над уровнем моря. Тысячелетняя тишина, нестерпимое для глаза сияние вечных снегов. Они залегали серебряными змеями в расщелинах или вдруг открывались на недосягаемой высоте белыми сахарными шапками. Человеческие голоса звучали глухо, как через вату, глухо, слабо и неубедительно. Холодное дыхание снегов спорило с полуденным зноем, и в конце концов на закате солнца мы надевали афганские телогрейки на бараньем меху. В тот день на встречу каравану шел голый горбоносый старик с седой бородой библейского пророка. Голый, с одной повязкой на бедрах, он шел на высоте двенадцати тысяч футов в отрогах Гималаев, не чувствуя полярного дыхания вечных снегов.

Он шел в Мекку.

Мы путешествовали без приключений и однажды с высокой кручи увидели внизу в безводной долине четыре квадрата с башнями по углам, четыре рабата. Они лежали перед нами как на ладони, но до последнего из них было еще четыре дня пути, а до Кабула еще пятнадцать дней. Хезареджат уже был позади, мы ехали по Кабулистану. Рабаты были грязные и немного изменили форму и устройство. В один из следующих дней обнаружилась полноводная горная река и в ней форель. Мы ее жарили и ели без стеснения, а изумленные афганцы не понимали, как человек может есть рыбу. Но еще более удивил их способ, которым добыли форель. А добыли ее очень просто.. Военный моряк Астафьев бросил боевую ручную гранату в синие, как синька, воды реки, граната взорвалась и оглушенная рыба всплыла на зло нашим рыболовам-классикам. Затем трое моих спутников, обрадовавшись воде, полезли в реку и сидели и плескались в ней до ночи. Через три дня они жестоко заплатились и оценили коварство климата и злые причуды природы. Сначала они почувствовали странную апатию, безразличие и необъяснимую смертную тоску.

Огромный мир — пылинки в пространстве,

Все, что знает человечество, — слова,

Народы, животные и цветы семи климатов — тени,

Плод твоих размышлений — ничто.

И хуже всего то, что эта внезапная болезнь здорового смысла и воли и даже рассудка настигает человека в пути—в пятьдесят километрах от человеческого жилья, в седле или в землянке рабата, когда надо продолжать путь без промедления и до Кабула еще двенадцать дней пути. После странного поражения воли и разума наступают физические страдания. Пересыхают губы, лицо сводит в гримасу от горечи, и свинцовая желтая тень ложится на лицо. Камни и люди и животные начинают вращаться вокруг, пробуешь сосчитать пульс — и теряешь счет, и рука падает как налитая свинцом, и тело человека — как каменная глыба. Человеку дают воду, он пьет и не чувствует ни ее вкуса, ни влажности, и каждый глоток отдается ударом в черепе. Затем начинается бред: тысяча тысяч всадников в остроконечных шапках, с дротиками в руках, желтые конские гривы. Или это просто острые камни и сухая мертвая трава у стен рабата? Лязг тысячи сабель о круглые щиты. Это лошадь звенит уздечкой? Когда действительность доходит до сознания — бред кончен, и вне фокуса, в радужном тумане, больной видит лицо товарища и слышит отдаленный голос: «Тридцать девять и девять. А было почти сорок один. Сердце в порядке». Через два часа больной приходит в себя. Невыжатой мокрой тряпкой лежит рядом сорочка. Припадок прошел; жизнь прекрасна; человек — это звучит гордо. Но болезнь возвратится завтра или послезавтра, и припадок будет продолжаться в определенный час. Тропическая малярия. Вы будете глотать граммами, до одурения, хинин и пить обыкновенную синьку, вы будете вливать в вены хину и сальварсан и сидеть в приемной институтов тропических болезней, врачи будут делать всезнающее лицо, и будут итти годы. Яд, введенный в кровь, плазмодии (так называется малярийный микроб) приручатся, они будут мирно жить в селезенке, почти не бес-

ножкой человека, пока однажды, чуть не через десятилетие, весной, милой северной весной, или черноземным бабьим летом припадок неожиданно свалит человека, и он будет грядисть под тремя одеялами и мерзнуть и задыхаться от жары и лежать как труп, как лежал десять лет назад на рабате на полпути между Гератом и Кабулом. И тогда человек проклянет коварную природу субтропиков и коварнейший из семи климатов и коварные горные реки Герируд и Гольменд.

У нас заболели трое из купавшихся в тот день и вечер в реке; еще трое почувствовали рецидив старой и давней малярии. Таким образом врач мог бы изучить три схожих вида малярии: кабулистанскую, энзелийскую у Ларисы Михайловны и у Синицына и малярию пограничную из Чильдхутерана — ее на себе изучал сам доктор Дэвиз. На кошме, распростертый как труп, лежал врач миссии — наша надежда. Нужно сказать, что в тот день на рассвете труба не играла поход, и мы на день застряли на рабате, в приятной близости реки и малярийной долины. К вечеру все больные отболели. Мы собрали военный совет и решили во что бы то ни стало уходить из проклятой долины. Анофелесы густыми столбами дымились над рекой: их было мириад мириадов, воздух был густым и упругим и звенел как струна от комариных полчищ. Между тем река была нарисована красивым синим росчерком среди желтых камней — чудесная река, живописная, зеленая долина.

Северяне или родившиеся на нашем юго-западе верили доброй природе своей родины, земле, воде и солнцу, тихим рощам, ласковым рекам, траве и зелени. Мой земляк ложился прямо наземь и укушенный скорпионом мгновенно набухал и три дня метался в бреду; он накидывался на фрукты — и его караулила дизентерия; он купался в горной реке — и здесь была малярия. Даже клоп назывался верблюжьим и кусался так, что кровоподтек от укуса держался с полгода. Даже вьючный конь, коняга — скромнейшая и безобидная животина на родине — здесь превращалась в чорта и норовила лягнуть и укусить чужеземца.

А псы кочевников, перед которыми наши цепные псы — кроткие комнатные собачки! Мнительный человек каждый день открывал у себя пендинскую язву и подкожного червя Ришту и, если хотите, проказу, потому что прокаженные ходили на свободе по кишлакам и заглядывали на базары. Да, много забот было у мнительного человека в Афганистане.

Вот мы прожили день на работе Маар-хана, в почти-тельном отдалении от реки. Отощавшие кони жевали саман, и мухи роями летали над сбитыми спинами животных и сидели на незаживающих ранах. Пять коней уже пало в пути. Под вечер, когда ушло солнце, мы поехали в долину. Голова гудела, в ушах звенело от хинина; теперь все глотали хинин лошадиными дозами. Мы ехали шагом и за горой открыли дым костра и лагерь кочевников. Высокие, стройные, полуголые люди в цветных, темных цветов, чалмах, свежевали верблюда, и глава племени делил верблюжье мясо. Закопченные, разодранные шатры открывали жалкую утварь кочевников. Но вдруг мы почувствовали странное волнение от того, что люди говорили не на языке «фарси», испорченном афганцами, и даже не на наречьи «пушту», а на «урду» — одном из наречий Индостана. Ветер Индии, воздух, запах Индии шел от черных закопченных шатров. И тут мы еще раз поняли и узнали, что каждый шаг, каждый час пути приближают нас к Индии, колыбели человечества, мечте каждого странника и врожденного бродяги. Это были мухаджерины, мусульмане-индусы, ушедшие из британской Индии. Они тысячами перешли границу и спустились с Сулеймановых гор в Афганистан, потому что хотели жить в стране мусульман. Это был своеобразный протест против британского владычества. Когда мы узнали об этом, то поняли неуловимую разницу между обыкновенными кочевниками «хане-и-сиар» (черные шатры) и спокойными, задумчивыми, исполненными своеобразного достоинства людьми из сердца Индии. Злое солнце, жестокий и злой климат гор, пыль многих дорог, грязь и пот изменили их облик и даже правильность.

соразмерность в чертах их лиц. Афганцы из Гератской провинции с трудом понимали их; они мало понимали афганцев; в отношении нас они проявляли только сдержанное любопытство. Мы вернулись в лагерь, и Лариса Рейснер с необычайным волнением слушала рассказ о ветре Индии, долетавшем из-за гор Сулеймана.

Мы пошли проведать доктора Дэрвиза; он мучительнее всех переносил малярию, память о Чильдухтеране. Как признанный ориенталист, он переносил ее мужественно, и когда Лариса Михайловна вспомнила Энзели, он сказал: «Я, как вам известно, шесть лет живу на Востоке; таким образом, если хотите знать, вряд ли кто-нибудь другой, одним словом, если вам угодно в первый и в последний раз и чтобы меня не перебивали, слушайте...» Так начинался рассказ о путешествии из Герата в Мешхед и обратно доктора Дэрвиза, бывшего зауряд-лекаря австро-венгерской армии, полиглота и ориенталиста.

— Дело в следующем, — начал доктор Дэрвиз, — дело в том, что я попал в плен в самом начале войны, под Красником. Командир 32-й Галицийской дивизии граф Берхтольд, родственник известного всем вам графа Берхтольда старшего, допустил непоправимую ошибку в выборе позиции...

— Доктор, — сказали мы, — вы обещали рассказать про Мешхед и путешествие из Герата в Мешхед.

— Хорошо, — продолжал доктор. — Таким образом в 1915 году я очутился в...

— Доктор, — еще раз сказали мы, — ближе к Мешхеду и Герату...

— Имейте в виду, что я вспыльчивый человек, — неожиданным басом сказал доктор и уже не останавливаясь ни на секунду продолжал:—Находясь в лагере для военнопленных я овладел русским, тюркским, английским, персидским и арабским языками в достаточной степени, чтобы объясняться с этими национальностями. Кроме того я прочитал все, что имелось в Ташкенте по востоковедению, и расширил мои познания путешествием в Кабул в 1920 году

и путешествием в Западный Китай в 1921. Английский и русский язык я изучал по журналу «Коммунистический интернационал», который, как вам известно, издается на русском и иностранных языках. Я хочу вам доказать, что я кое-что смыслил и в политике. Одновременно с языками я изучил на себе самом симптомы тропической малярии (malaria tronica), пендинскую язву, последствия укуса фаланги и жестокий ушиб при падении с лошади.

— Доктор, — в третий раз сказали мы, — ближе...

— Хорошо, — наливаясь кровью до корней волос, воскликнул доктор, — если вы не умеете слушать — хорошо. Я начну так: У Фарух-хана, пятилетнего сына персидского консула нерегулярно действовал желудок... Вас это устраивает? Хорошо... Мохамед Ол-Мольк — его превосходительство персидский консул в Герате — мой личный друг; его превосходительство командующий войсками Гератской провинции Абдул-Азис-хан — тоже мой лучший друг. Почему? Это врачебная тайна, и я не могу ее нарушать. Он мой пациент и считал меня своим лучшим другом, потому что когда мужчина семидесяти лет отроду...

— Врачебная тайна, — хором сказали мы.

— ...одним словом в гератские ночи, когда вы видите сны, которых не объяснит ни один психоаналитик, ни даже профессор доктор Зигмунд Фрейд, я встал в пять часов утра и сделал три километра по проклятой аллее. Я гулял и думал: «Мохамед Ол-Мольк — мой лучший друг, Азис-хан — мой пациент и друг. До каких пор ты будешь ишаком?»

— Это кто кому сказал?

— Это я говорю себе. Честное слово, я перестану рассказывать! Значит, я говорю себе: «До каких пор, доктор, вы будете ишаком? У вас высокие друзья — вы ориенталист, дипломат и полцглот». И вот я хожу по нашим Елисейским полям (вы их знаете) и вижу — идет Мешеди, извозчик Гафур из Мешхеда, мой пациент и лучший друг (вы его тоже знаете). Поймите, как работает моя мысль в ту ми-

нуту: извозчик Гафур — раз, персконсул — два, Абдул-Азис-хан — три. «Доктор Гуго дэрвиз — сказал я себе, — почему тебе не поехать в Мешхед? Из Герата в Мешхед через Кафаргалу. Мысль?» Невежественные люди не понимают, что это значит, но ориенталисты... Знаете ли вы, что кроме трех немцев-офицеров, проехавших к эмиру Хабибуле, и еще двух английских, ни один европеец не ездил по этой дороге. Я, доктор Дэрвиз, советский гражданин и сотрудник консульства, буду шестым европейцем, мое имя будет в списке великих путешественников, исследователей Центральной Азии. Сказать вам правду — я неудачник. Я составил подробное описание дороги из Герата в Кандагар — и нашел в Ташкенте два таких же описания; я написал подробное исследование-доклад о населении, быте и экономике Западного Китая — и нашел в Ташкенте пять таких докладов. Нет, — сказал я себе. Карты легли так, что проиграть может только слепой. Персконсул твой друг, Азис-хан тоже твой друг, извозчик Гафур, по прозвищу Мешеди — тоже. Ты должен ехать из Герата в Мешхед и собрать материалы для исследования, чтобы в Москве сказали: «Товарищ Дэрвиз, сделайте честь Академии наук, будьте членом-корреспондентом», а великий востоковед Бартольд сказал бы: «Товарищ Дэрвиз, как-нибудь зайдите ко мне вечером, поговорим о султани Махмуде».

«В девять часов утра я был у Мохамеда Ол-Молька; он лежал на ковре в саду, в палатке и писал пропуск извозчику Гафуру. Он посмотрел на меня томными глазами и сказал:

— Дженابي-доктор-саиб, вы мой друг, вы хейли, хейли хуб адам (очень, очень хороший человек), вы вылечили Фарух-хана, вы научили меня играть в китайскую игру, которая интереснее домино и шахмат. Я вам дам визу в Мешхед.

«Тогда я поехал к Абдул-Азис-хану. Он сказал:

— Доктор-саиб, вы — хуб адам, вы — хороший человек, вы вылечили меня и так далее... Я вам дам пропуск в Мешхед и обратный пропуск в Герат.

«И наконец, я пошел к моему другу Гафуру и сказал: «Мы едем в Мешхед». Ровно через шесть дней старая, запряженная четверкой карета Гафура стояла у ворот консульства (от Герата до Мешхеда, Иншаллах, колесная дорога). Вы знаете, что я делал эти пять дней? Не знаете? Я сочинял собственную, новейшую систему стенографии. Что вы скажете?»

Мы молчали.

— Для чего это нужно? Для того, чтобы я мог записать каждую мелочь в пути. Потом я сказал себе: допустим, афганцы или курды похитят рукопись — они не поймут в ней ни строчки. Чтобы понять, надо знать ключ моей системы. А если они найдут ключ? И я выгнул его наизусть и сжег из предосторожности. Мы выехали на рассвете. У кареты была одна рессора, вы понимаете сами — неудобно ехать с одной рессорой. Короче говоря, на четвертый день пути мы приехали в Кафаргалу на персидской границе. Какой-то сумасшедший старик, впервые в жизни увидев европейца, бросился на меня с ножом. Солдаты привязали его за шею к седлу и повели к хакиму вешать; я его выкупил за две рупии. Я ехал с почетом, но отсидел зад и отбил бока. Я видел мертвый город восемь фарсах в окружности, мертвый город, большой, почти как Вена. Здесь жил миллион людей, пока их не вырезал Чингисхан. Вороны, ростом в полметра, сидели на развалинах. Я четыре часа обмерял башни и руины мечетей и стены и описывал уцелевшие изразцы. В Персии мне дали конвой — трех персидских казаков. Я приехал в Мешхед, в консульство РСФСР. Консул встретил меня мило; он не спросил меня о том, что именно я видел в пути, он спросил: есть ли в Герате сигареты Командор и сколько стоит коробка табаку «кэпстэн»? Я был в Имам-Риза и на базаре и постоял минуту у цепи в базаре-Арк. Неверный не смеет ходить за цепь. Но все это мелочь по сравнению с тем, что я видел на обратном пути у курдов. Я жил у курдов ровно две недели и лечил глаза самому Бужнурскому хану. Мои записи, шесть тетрадей, были всегда со мной. У меня было

два припадка малярии, и я не уверен в том, что черноусый курд (он ухаживал за мной как за родным братом) не был сам Лоуренс — или другой джентльмен с Доунинг-стрит. Но что они понимали в моей стенографии? Я выехал из Мешхеда в январе, жидкая грязь цвета венского кофе была по брюхо коням. Карета тонула по самое колесо; я шесть раз пересаживался на коня и приехал в Герат по пояс в грязи. Я отдал мои шесть тетрадей консулу; при мне их заперли в несгораемый шкаф. Потом я заснул и спал сорок часов, потом проснулся и закурил папиросу, мешхедскую папиросу братьев Эффендиевых с русской этикеткой и портретом Ахмед-шаха. Да.

— Что же вы видели у курдов? О чем говорил Бужнурский хан?

Доктор молчал. Мы тоже помолчали, и потом кто-то спросил: — Ну, дальше?

— Что дальше?

— Манускрипт, записи, материалы — вы их опубликовали?

Он помолчал и вздохнул:

— Я же сказал вам. Это были стенографические записи. Я записал их по моей системе.

— Ну?

— По моей системе стенографии. Но я сжег ключ.

— Ну?

— А систему, мою систему стенографии я забыл. Целый год я пробовал расшифровать записи, потом я выбросил их из окна и гриф разорвал мои шесть тетрадок в клочки.

— Все?

— Все.

Были навзрыд шакалы; афганский часовой пел пронзительно и грустно или считал звезды. Мы разошлись по землянкам; мы хорошо спали в ту ночь, и в пять утра нас с трудом разбудила труба.

Эге, скажет читатель, тут вы приврали, это просто новелла, обыкновенная новелла во вкусе О. Генри,

хотя бы. И тогда автор «Записок спутника» назовет имя товарища Равича, бывшего консула в Герате, — он не откажет подтвердить, что в общем так оно и было, а «в целом» автор прикрасил самую малость. Именно самую малость.

Без печали и сожаления мы оставили рабат с непривлекательным названием «Маар-хана», то-есть дом змеи. Утром мы одолели перевал, напоминающий американские горы, и спуск — лестницу гигантов. Следующим чудом афганистанского Луна-парка был чортов мост из трех качающихся бревен, покрытый хворостом и глиной и не имеющий никаких признаков перил. Мы ехали по мосту на высоте трехэтажного дома, мутный желто-бурый поток рычал внизу и потрясал львиной гривой. Дальше была узкая горная щель; она раздвигалась, ширилась с каждым часом и вдруг обратилась в буйно-цветущую долину. Два дня мы ехали по этой долине среди стелющегося, как прозрачный зеленый дым, кустарника. Три матроса ехали в хвосте каравана, сидели мешком в седле, качаясь и держась за луку. У них была жестокая малярия. Они сделали в два дня почти сто километров. Дэвиз сунул одному под мышку градусник, потом другому и третьему и лаконически и сказал: «Сорок и выше».

До Кабула — триста километров. Утром по пересохшему руслу реки ехали нам навстречу два всадника: один в шляпе ковбоя и красных кавалерийских штанах, другой в тропическом шлеме — комендант и первый секретарь полпредства Ермошенко и Игорь Рейснер. Они выехали нам навстречу из Кабула.

Кала-и-Кази был последний рабат перед Кабулом: У лавки фруктовщика в кишлаке стоял двухколесный желтый экипаж, называемый «баги». Спиной к кучеру сидел молодой человек в чесунче, ковбойской шляпе, с бирюзой в галстук. Это был чиновник министерства иностранных дел. Кабульский извозчик позвонил в звонок и поехал впереди каравана. Мы приняли это явление как возвращение в век культуры и цивилизации. Дех-Мазангское

ущелье было естественными крепостными воротами Кабула. По хорошей колесной дороге ехал велосипедист в чалме и туфлях на босу ногу. У ворот рабата мы увидели автомобиль с красным флажком на радиаторе. Сирена автомобиля зарычала на верблюда в воротах, и он не торопясь и не ускоряя шага прошел внутрь двора.

Худощавый человек с острой бородкой, в фуражке с красноармейской звездой, приложив к козырьку руку, смотрел на приближающийся караван. Это Рикс — военный агент полпредства.

День потух без сумерек. Сразу настала ночь, тридцатая ночь в пути.

Слабая прозрачная струйка воды плескалась в острых камнях. Лошадь искала воду и хватала мягкими горячими губами камни. Эта прозрачная, серебристая струйка воды убегала в темноту. Там русло ее расширялось и отхватывало почти треть долины, обыкновенное, пересохшее русло горной реки. Река называлась Кабул, и, пробежав тысячу километров, она впадала в великую реку. И это был Инд.

Утром, на тридцать первый день путешествия, мы увидели город и золотистый купол мечети и два острых минарета, как два стража по сторонам купола. Мы узнали эту мечеть по силуэту против солнца. Силуэт был выбит на афганских монетах и на серебряных гербах афганских кавалеристов; он был и на сургучной печати, запечатывающей письма афганских министров.

Мечеть — мавзолей султана Бабэра, а город — Кабул.

5. КАБУЛ

Ветер. Ветер Индии.

На большом хрупком столе лежат пачки исчерканных синим карандашом газет. Ветер треплет страницы плотной серой тетради «Сивиль энд Милитэри», официальной газеты вице-короля и правительства Британской Индии; ветер шелестит шершавыми листами «Бомбей Хроникл», официальной газеты халифатского движения в Индостане. Ее издает европеец, принявший ислам. Он, как герой романа Тагора «Гора», вождь религиозно-националистического движения, не индус по происхождению, а англичанин, кровь и плоть нации, владеющей Индией.

Синий карандаш бежит по полям газет. Он пренебрежительно отмахивается от объявлений бомбейских кинематографов, калькутских универсальных магазинов, трансатлантических пароходных компаний, от приказов «огзильэри форс», британского добровольческого корпуса, и от отчетов о последнем состязании в поло в присутствии вице-короля в Симле. В большой двусветной комнате нет мебели кроме большого стола для газет, маленького стола для пишущей машинки и двух стульев.

Ветер надувает паруса занавесок в верхних и нижних окнах и перелистывает газеты на полу, и страницы «Пайонира», настольной газеты колониальных британских чиновников, перемешались со страницами «Индепендент» («Независимый»), газеты Всеиндийского комитета Конгресса. Стрекочет машинка, и в пустой комнате жужжит монотонный голос:

... на выставке «свадеша» скобка товаров туземного производства скобка открывшейся в конце июля Бомбее выставлены образцы «каддара» запятая возрождено

к жизни старинное индийское ремесло граничащее прикладным искусством точка . . .

Молчание и шелест газет, и опять голос, и стук машинки:

. . . Разумеется самой крупной фигурой освободительного движения является попрежнему Ганди. В начале июля 1921 он продолжал отстаивать свою политику пассивного сопротивления от чересчур активных резолюций провинциальных конгресс- и халифат-комитетов. Он ясно наметил свою цель самоуправления типа доминонов Канады или Австралии с парламентским строем. Он порицает забастовки сочувствия и политические забастовки, указывая, что целью его является не уничтожение капитала, а установление нормальных отношений между трудом и капиталом. Всю свою энергию Махатма Ганди направляет на проведение бойкота импортного платья. В этой кампании он проявляет экстаз и увлечение, свойственное не столько политическому, сколько религиозному вождю. В кампании за «чарка» он увлекается идиллической прелестью кустарного труда в противовес разрушающей эту идиллию современной индустрии. Он доходит до призыва к отказу от фабричного производства в Индии. Он ставит преподавание ткацкого ремесла выше преподавания наук. Он сумел настоять на официальном раскаянии братьев Али и не предусмотрел последствий этого шага. Между тем колониальная политика Англии не уклоняется от своего исторического пути; правительство насаждает реакционные лиги; не прекращаются репрессии, и сам Ганди вынужден был признать свидание с вице-королем политической ошибкой. В статье «Июнг Индия» он даже склонен допустить применение насилия в отношении правительства Индии. Он призывает индийских солдат оставить службу в случае объявления Англией войны ангорскому правительству . . . В речи на выставке в Пуне . . .

— Где? — грустно спрашивает машинистка Маргарита Николаевна.

... в Шуне Ганди порицал торговцев, повышающих цены на индийскую ткань, и требовал распространения бойкота на фабричные изделия местного производства.

Маргарита Николаевна вздыхает и, пользуясь паузой, спрашивает:

— Чего ему собственно надо? Мы покупали на базаре английский шевиот по тридцати рупий ярд, прелестная материя, чистая шерсть.

Я прерываю ее: — Пишите:

... В свет на принудительный курс калдар...

— Каддар? — спрашивает Маргарита Николаевна.

— Нет, не каддар, а калдар — индийская рупия. Каддар — индийская домотканная материя, пора знать. Пишите:

... В ответ на принудительный курс индийской рупии ассоциация мануфактуристов отказалась от выполнения заключенных с Манчестером старых договоров, и в одном Бомбее лежит на таможне на 150 миллионов рупий невостребованных товаров.

Маргарита Николаевна вздыхает. Ветер шелестит страницами газет и монотонно журчит голос:

... Из потребляемых 3 600 миллионов ярдов тканей половину производит сама Индия. В настоящее время работает 12 000 механических станков и шесть с половиной миллионов «чарка»...

Машинка перестает стучать.

— Чарка?

— Да, чарка — веретено, — с раздражением говорю я. — Продолжайте:

... Кампания против «бегара»...

— Как вы сказали?

— Я говорю: кампания против бегара. Бегар — принудительная бесплатная работа в пользу правительства...

Белая занавеска колышется, и в дверях появляется бо-сой, в стареньком солдатском френче, Мамед-Али. На пуговицах френча британские львы и буквы «I. R. A» — Ин-

дийская королевская армия. Он осторожно положил на уголок стола клочок бумаги, и на клочке написано четырехугольными крупными буквами: «Бюро печати, где же ваши коммюнике?»

— Хуб, — говорю я. Занавеска опускается, и Мамед-Али исчезает.

— Продолжаем... Итак, кампания против бегара...

— Скажите, — печально говорит Маргарита Николаевна, — неужели «бегар», и «каддар», и «чарка»? И это все? Как грустно.

— Почему грустно?

— Низам гайдерабадский, — вдруг говорит она, — Низам, как это красиво. Низам — это имя?

— Нет. Низам — титул. Скажем — эмир афганский, низам гайдерабадский. Гайдерабад — вассальное княжество.

Она облегченно вздыхает:

— Значит все-таки есть раджи и слоны, и священные раковины, и священные коровы.

— Все есть. Раджи и чарка, слоны и забастовка на Асамо-Бенгальской дороге. На чем мы остановились?

... «Пайонир» сообщает, что уставы профсоюзов Удской и Рогильгандской железной дороги были благо-склонно выслушаны агентом дороги...

Мухи, кабульские мухи жужжат в пустой комнате; во дворе конский топот и крик: «Стремя! Подтяни стремя, Аршак!» Я бросаю газеты и ухожу. Я пересекаю большой двор и еще один двор. Васильев встречает меня на террасе, и газетный лист извивается, как знамя, у него в руках: «На Малабарском берегу восстало племя Моплас!» Мне стыдно, что я не помню, где именно находится Малабарский берег и что это за племя Моплас. Он подписывает наше коммюнике, триста-четырееста слов — экстракт из индийских газет; он подписывает его в надежде, что завтра или сегодня ночью наша слабенькая радиостанция сообщит Ташкенту о племени Моплас на Малабарском берегу. Но радио работает скверно, и когда дипломатическая

или обыкновенная почта доставит коммюнике в Ташкент, газета будет выглядеть в руках Васильева как траурный, приспущенный флаг и я буду диктовать Маргарите Николаевне: «Улемы племени Моплас на основании священных книг призывают мусульман к верности королю Георгу, законному властителю мусульман». Но завтра флаг взвоется ввысь, потому что из-за этих улемов едва не произошло кровавого столкновения между их сторонниками и теми, кто не верит священным книгам и не верит императору Индии, законному властителю мусульман.

О, ветер Индии!

Кривая сабля ударила по земле, где-то между долиной реки Гильменд и Кабулистаном, и в этом месте кончилась Средняя Азия, суровые, девственные горы, камень и песок и расточительная радость зелени в редких оазисах. Долина реки Кабул началась узкой щелью и развернулась стелющимся по земле садами и разбросанным в долине древним городом. Сюда долетел ветер Индии; он вертит флюгера на крыше Дэль-Куша; он уносит к облакам дым фабричных труб «машин-хане», единственного и универсального завода в Афганистане. И когда с юга дует ветер, он кажется жаркими вздохами, дыханием трехсот двадцати миллионов людей, отделенных от Афганистана стеной Сулеймановых гор. Через Хайберский проход между опутанных колючей проволокой фортов дует ветер Индии; он смягчает суровые и сухие линии среднеазиатской архитектуры: он придает округлость и женственность форм куполам мечетей и вышкам дворцов; он меняет цвета Азии — желтый и коричневый — и вдруг приносит разнообразие и дешевую пестроту колониальных материй. Из-за Сулеймановых гор над линией пограничных фортов, говорят, не пролетят ни птица, ни самолет, но Хайберский проход гостеприимно открыт для караванов из Пешавера, для колониальных британских товаров, для колониальной завади «made in England». Тысячи верблюдов обрушили на Кабульский базар то, что не берет даже невзыскательный купец Калькуты и Бомбея. Индийские архитекторы строили Дэль-Куша и двор-

цовые дачи Пагман и Кала-и-фату. Вот глухие, глинобитные стены кишлака Кала-и-фату, ворота, глухой дворик, но за стеной дворика открывается сад, разбитый индийскими садовниками, и три летних, легких строения. Крыши из волнистого, оцинкованного железа напоминают алюминиевое крыло аэроплана, балконы и полотняные тенты вокруг дома, окна и двери — копия англо-индийского дома, построенного для колониального чиновника или богатого индуса, воспитанника британского колледжа. Внутри все раздражает: завитушки и выкрутасы обоев, канделябры, хрустальные дверные ручки, позолоченная легкая мебель, фольга, позолота, мишура и единственная полезная, бесценная вещь — электрический веер, вращающийся в потолке винт. В одной комнате над золотистыми и лазоревыми обоями мы уже видели непонятный пестрый бордюр, мы долго разглядывали его снизу, затем достали лестницу, чтобы рассмотреть вблизи, и увидели, что он состоит из тысячи «карт-посталь», пошлейших разноцветных открыток, изображающих женские головки всех цветов радуги.

Индия, золотой храм Сикхов, чудесный древний дворец Дэли, белый лотос Тадж-Магал, встающий из серебряных вод, — так мы думали об Индии, и вдруг — эссенция элементарной бульварной пошлости, европейской пошлости, соединенная с колониальным изобретенным для туземных богачей, стилем. Эмиры Абдурахман и Хабибула умели выбирать место для дворцов Баги-Бала и Чиль-сутун (Сорок колонн), суровых и великолепно поставленных замков, но затем, когда в Кабул проникли строители-кондитеры, воспитанные индийскими колониальными чиновниками, появились Кала-и-фату и Дэль-Куша. Мы прожили в Кала-и-фату две недели, и у меня осталось впечатление пестрой раздражающей декорации и еще веселое воспоминание об оранжерее и живом кактусе, почти чудовище, произраставшем в оранжерее. Этот живой кактус был восьмипудовый, почти круглый как шар, чиновник министерства иностранных дел, приставленный к нам мехмандар. Он был род-

ственный эмира, развлечение для высоких сердаров и принцев, предмет их грубоватых шуток. За стеклянными рамами, в накаливаемой теплице не было ни растения, ни живого существа, кроме этого шарообразного толстяка во френче и бриджах цветными шашечками. Он всюду ездил с нами в отдельной карете, занимая почти все сиденье. А когда ездил верхом на могучем толстозадом жеребце, то приподнимался и опускался в седле, напоминая огромный, колыхающийся в море буюк. Когда же на официальных приемах решительно не о чем было говорить и все уже было сказано о погоде, о местоположении Кабула и о здоровье всех присутствующих, министры позволяли себе подшутить над кактусом-мехмандаром. Но все же шутили над ним высокие особы по рангу не ниже министров. Это нам удалось заметить. Мы прожили недолго в оранжерейных виллах Кала-и-фату и постепенно все сбежали в Кабул, кроме Ф. Ф. Раскольников и Ларисы Михайловны, которых этикет заставлял жить летом в загородной резиденции. Для Ларисы Рейснер это был образ жизни пленницы; убийственный престиж определял круг визитов жены «сафир-саиба», и это было довольно мучительно для литератора, которого интересовали все люди от простого «богивана», кабульского извозчика, до сребробородого Мулеви, индуса — политического эмигранта, бежавшего из Бенгалии и нашедшего убежище в Кабуле. Обыкновенные смертные, то-есть обыкновенные сотрудники миссии, часами слонялись по базару пешком и верхом, поднимались на гору, увенчанную сломанной короной укреплений, смотрели в бинокль, как индусы сжигают своих мертвых, как серый густой дым наклонной спиралью идет в небо и желтые языки пламени переплетаются, обвивают сучья, и белый, согнутый, продолговатый сверток дымит и пылает между сучьями. Мы начинали прогулки у стен городской цитадели. Старые бронзовые пушки, не употреблявшиеся даже для салютов, относились к первой и второй англо-афганской войне, когда генерал Нотт сжег до тла и разорил Кабульский базар так, как его не разорил даже Тимур. «Кабул

очень населен и очень шумен, — писал Александр Бэрнс в 1832 году. — После полудня поднимается такой крик, что нет никакой возможности разговаривать». Через девяносто лет Кабул был попрежнему населен и шумен, но шум и суета относились, главным образом, к знаменитому кабульскому базару. Сверху, с горы, он напоминал по форме гигантского распластанного осьминога, все его ответвления сходились к овальной площадке, Шур-базару. Там, поджав босые ноги и оставив расшитые золотом туфли — мультами, буквально на серебре и золоте сидели менялы-парсы. Желто-красное пятнышко, язычок пламени, нарисовано у них между бровями: оно придавало менялам сатанинский, лукавый вид. Парсы — огнепоклонники, эта индийская секта вообще занимается биржевыми и коммерческими операциями в Индии и Кабулистане. Это они устанавливали на Кабульском базаре курс на английские соверены, русские империалы, французские луидоры и «тилла» — бухарские золотые. Всезнающий доктор Дэрвиз утверждал, что их курс ни на один пункт не отстает от курса Бомбея и Лондона. Ни индусы, ни афганцы не любят этих прирожденных финансистов, потому что они скупы и безжалостны, и характер ростовщика и менялы мало изменился с тех пор, как генерал Нотт и Тимур разрушали кабульский базар. Все здесь было пестрее и разнообразнее и интереснее, чем в Герате: индусы из Бенгала с раздвоенными, закругленными бородами и длинными загнутыми ресницами — представители чистейшей арийской расы, которых сомнительные арийцы-англичане нагло называют «цветными»; монголы-хезарийцы с раскосыми глазами и выдвинутыми скулами, библейские профили и огненные глаза вазиров, афридиев — горцев из независимых племен на северо-западной границе Индии; горцы из Катагано-Бадахшанской области, высокие, стройные и сильные люди, поставляющие рекрут в гвардию эмира; горцы из Кафиристана, голубоглазые, почти блондины (кровь древних греков, основателей греко-бактрианского государства); персы, белуджи, таджики, туркмены в высоких ба-

ранних шапках; узбеки — рабы и подданные бежавшего в Афганистан последнего эмира Бухарского; и наконец афганцы племени Дурани, похожие на южных евреев (может быть, поэтому они утверждают, что происходят от исчезнувшего в пустыне колена народа израильского). Здесь ворота Индии, узел великого древнего пути от Балтики к Индийскому океану, ключ к тайне Азии, колыбели племен, народов и рас.

В изорванной грубой рубахе, в обмотках на босу ногу, на коне-скелете, сидит горец. Поперек седла одиннадцатизарядная, сверкающая, как игрушка, английская винтовка — единственный предмет щегольства. И на него глядят с завистью седые ветераны, солдаты эмира Абдурахмана, обугленные солнцем, черные, как негры, с седыми клочками волос, растущими прямо из адамова яблока. И на него глядят с завистью серо-голубые артиллеристы образцового полка. А он едет надменный и гордый в своих лохмотьях, держа на весу одиннадцатизарядное сокровище, и оно стоило своему хозяину чужой и своей крови. А возможно — он променял на винтовку последнее стадо овец или последний клочек земли, рисовое поле, над которым до смертного пота бились его отец и дед и прадед. У лавки оружейника, напоминающей маленький музей оружия, стоят его братья — горцы независимых племен и чистокровные афганцы «дурани». Раскрыв рты и выкатив белки, они глядят на немецкие, английские и русские трехлинейные винтовки, револьверы от старого Лефаше до автоматического пистолета парабеллум. Они глядят на древние кремневые ружья времен Надир-шаха и на винтовки маузер, и на самодельные ружья, сделанные из кривой палки и железной трубки. Обнаженные клинки — кавалерийские сабли, секиры, которыми вооружены афганские почтари, трехугольные ножи, палаши — работы кабульской машинхане сверкают синим и холодным серебристым сиянием, и вокруг в оцепенении, затаив дыхание, стоит толпа и не слышит, как надрываются погонщики верблюдов и как страшно и непотребно ругают их, их отцов

и дедов всадники, которым толпа преграждает путь. Оружие — ключ к благополучию, оно открывает яхтаны богачей, оно отдает в руки смельчака женщину, оно приближает сладкий час мести, оно возвращает стада и землю, отнятую у бедняка обидчиком-ханом. Оружие возвращает свободу и независимость бедному горцу, у которого не было ничего кроме свободы. Он покупает патроны, он держит их на черной грубой ладони и пересыпает их из руки в руку, как золотопромышленник пересыпает самородки, как ювелир пересыпает рубины, которые живут в горах Афганистана. И горец отдает за патроны последние две рупии и отказывает себе в горсти плова, в лепешке и глотке зеленого чая и затяжке чилима и уходит, отворачиваясь от соблазнительных запахов жаровень под навесами чай-хане. Ночью по Пешаверскому шоссе он уходит на юг и, свернув с шоссе, по невидимым глазу тропам, уходит в Сулеймановы горы.

Сто лет в английских и англо-индийских газетах не исчезает отдел «Независимые племена»; он называется по разному: «северо-западная граница», «афганские племена» или просто «племена». Сто лет этот отдел носит характер оперативных сводок с фронта. Не слишком часто оперативная сводка коротко сообщает: «На северо-западной границе — спокойно», но иногда лаконические строки разрастаются в сто-двести строк, в целую колонку убористого шрифта. И тогда в сводке довольно подробно изложено, что именно предпринято командованием против вазиров в Вазиристане и каким образом комбинированными действиями авиации и горной артиллерии и самой строгой блокадой вано-вазиры были приведены к покорности и выдали сто шестьдесят восемь винтовок и патроны. Но так как военное командование потребовало не больше, не меньше, как двести винтовок, то вазиры вынуждены были купить еще тридцать две недостающие винтовки, и только тогда военные действия со стороны британских войск были прекращены. Это излагается с загробным британским юмором, экскурсами в историю и с тем деловым цинизмом и

невозмутимой жестокостью, которая заставила Вольтера сказать: «историю Англии надлежит писать палачу». Депутат рабочей партии интересуется положением на северо-западной границе Индии, и статс-секретарь по делам Индии церемонно отвечает, что на вопрос господина депутата такого-то округа он ничего не может прибавить к тому, что было сказано в парламенте одним из его предшественников в 1897 году такого-то числа. Точно так же на вопрос, где находился полковник Лоуренс во время мятежа Бача-Сакао, представитель военного министерства сообщил, что названный полковник такого-то числа выбыл к месту своей службы на северо-западную границу Индии и в 1929 году отпуском не пользовался. По одну сторону — тройная линия фортов, эскадрильи бомбардировщиков, горные орудия, тяжелые и легкие пулеметы, по другую — устарелые винтовки и горсть патронов. По одну сторону — паутина стратегических дорог, разработанная десятилетиями система ведения горной войны и разведки, провокации и подкупов и так называемая «хассадарская система» — принудительная круговая порука племен, по другую сторону — твердость и мужество отчаяния. Слава твердости и мужеству, но кабульские щеголи равнодушно проходят мимо смертоносного товара оружейников, их занимают расплывающиеся фиолетовые и оранжевые тона бухарских халатов и оливково-золотистые халаты из Индостана. Тучный и сонный уездный начальник примеряет тяжелую баранью шубу с выделанными, как замша, лимонно-желтым верхом. От зноя и накаленного под навесами воздуха он как лакком покрывается капельками пота, но он не торопится сбросить шубу и охорашивается и оглядывает себя, и вдруг его взгляд останавливается на алом, расшитом золотыми шнурами, мундире тамбур-мажора времен королевы Виктории, на кремовых с золотыми лампасами, широких панталонах. И рядом с этим великолепием презренные зеленые френчи с медными пуговицами и британскими львами на них, френчи, обмотки, штаны, выброшенные в невероятном количестве на базары Мешхеда и Герата и Кабула и

на «американку» в Тифлисе. Ликвидные фонды мировой войны, залежи военных складов Антанты. В серо-голубых покрывалах, как безмолвные тени из пьесы поэта-символиста, стоят женщины у лавки ювелира. Стучит молоточек и выковывает из серебра широкий браслет или бирюзовую заклепку для ушей и ноздрей. Среди золотого лома — медалей, и монет, и колец с фальшивыми рубинами — лежат часы с русским царским орлом, царский подарок из кабинета его величества, неизвестными путями очутившийся в Кабуле. Седла и сбруя, целый склад седел в серебре и бирюзе с золотой насечкой; русское седло, называемое офицерским; английское — с малиновым чепраком, вензелем и короной; жалкое деревянное седло кочевника с веревочными стремянами. Острый, крепкий запах кожи отшибает на минуту сладчайшие запахи дынь и гранатов и запахи пота людей и животных. Галопом скачет турецкий офицер-инструктор; его вороной карабаир широкой грудью раздвигает толпу. Следом за офицером со звоном и грохотом несется карета и давит на смерть тощую собаку, и она остается на земле, плоская, раздавленная, с высунутым розовым языком. В двух шагах от собаки с обручком вместо правой руки и отрубленными ушами лежит голый нищий, страшное подобие человека. В невообразимо грязной, темной щели в терiak-хане (терiak — опиум) над арыком лежат курильщики опиума с «видящими невидимое», осмысленно страшными глазами. В час молитвы выходит на порог мечети мулла и зажимает себе уши, наливаясь от напряжения кровью, кричит: «Аллах акбар...» — велик Аллах; велик, если он позволяет жить расслабленным сумасшедшим терикешам и прокаженному с львиным лицом, схватившему ваше стремя, и развинченному педерасту в чусуче, золотых туфлях, кашмирской, сложенной вчетверо шали, великолепно ниспадающей с правого плеча. Мы путаемся в лабиринте базаров, и он трижды приводит нас к одному и тому же месту — лавке башмачника, иллюстрации к сказкам Шехеразады. Тысяча туфель, шитые золотом пешауры и мультаи, грубые сандалии горцев, заги-

баясь кверху, смотря вопросительными знаками в небо и никак не хотят упираться ногами в скучную и серую землю. И опять и опять дикая суэта базара, качающиеся, вечно жующие, презрительные головы верблюдов, мотающиеся уши ослов, задерганные мундштуками оскаленные лошадиные головы; рев ослов, вопли, непередаваемо-непотребная ругань, клятвы продавцов и брань покупателей. В этом аду, величественный и спокойный, уверенным шагом проходит старик в зеленой чалме — хаджи, побывавший в Мекке. Звучным, молодым голосом он рассказывает о жизни и смерти святого, окончившего жизнь шестьсот лет назад в святом городе Джедде. И в судорогах и поту, извиваясь как червяк, падает к его ногам человек в последних корчах, холерный больной. Это никого не пугает: «Инш Аллах» (если Аллаху угодно) — умрет. И все по-прежнему пожирают золотые дыни и нежнейший виноград из Джелалабада и запивают его мутной водой из арыка.

Еще в 1921 году кабульских вельмож и афганских ханов сопровождали рабы. Рабовладельцы, разумеется, ездили в каретах или верхом, раб бежал впереди и иступленным голосом вопил «хабардар» (берегись) и нес на бритой голове все, что надумал купить на базаре его господин или домоуправитель господина. Бэрнс и другие путешественники утверждали, что рабовладельцы обращались с рабами отечески милостиво. Вот в каких выражениях составлен фирман эмира Амманулы, отменивший рабство: «Достойно сожаления, что некоторые славные и достойные лица владеют рабами и рабынями, хотя, согласно приказов светлейшего шариата, владение последними не дозволяется... После этого приказа лица, впавшие в униженное состояние рабства, должны быть освобождены. После этого приказа покупка и продажа рабов и рабынь какого бы то ни было племени воспрещена...». Итак, мы бродим по кабульскому базару через несколько месяцев после исторического фирмана, отменившего рабство. Навес над головой вдруг обрывается — солнечный пожар, полуденное пламя ослепляет; и вдруг солнце потухает; серая гора идет на

меня; впереди горы качается толстый серый шланг; хлопают паруса ушей по сторонам шланга-хобота; наконец вы различаете маленькие, неглупые глазки. Три живых горы пересекают базар поперек и останавливают поток людей и животных. Это ведут на работу слонов из Филь-хане (буквально — дом слонов). Полуослепший от пыли, оглушенный выходишь в базар-Арк, казенную чистую часть базара и попадаешь в руки Аршака Баратова, дипломатического курьера и нашего временного завхоза, девятнадцати лет от роду. Он говорит на фарси как чистокровный афганец и покупает коробку сыра честер и велосипедный фонарь. Из спортивного интереса и из чувства долга он торгуется так, что нормальное число зевак вокруг европейца увеличивается втрое. Он заклинает купца страшными закланиями, то высокомерно помыкает им, то жалостно просит снисхождения к сироте-чужестранцу, то льстит, то обличает с библейским пафосом, цитируя наизусть статьи шариата и адата, предписывающие купцу вести торговлю честно и с достоинством. Наконец он произносит заповедное «расуль мал», после чего правоверный не смеет обмануть покупателя. Сделка состоялась; Аршак вытирает пот и с полным удовлетворением уводит меня домой. Весь запас юношеской энергии на сегодня исчерпан, но он не позволил надуть советскую казну ни на один пейс, сотую часть рупии. И мы возвращаемся в полномочное представительство.

Под кабульскими чинарами, за длинными столами, сидят пятьдесят человек — сотрудники, дипломатические курьеры, радисты советской миссии в Афганистане. Как хотите, это была редкая по многочисленности европейская колония для запретного древнего города Кобыл, как звучал Кабул в русской транскрипции XVI века. Время напомнить увлекательную, разнообразную и иногда трагическую судьбу путешественников по странам Востока. Русские и англичане открыто соперничали смелыми вылазками в Среднюю Азию; разумеется, это было политическим и экономическим соперничеством. Отважные путешествен-

ники проникали в девятнадцатом веке (и раньше) в страны Востока не столько как ориенталисты, сколько как политические агенты и военные разведчики своих правительств. Так действовали в Бухаре и Хиве офицеры Мейендорф и Николай Муравьев, военный переводчик Назаров, ученый ориенталист Демезон, странствовавший под именем муллы Джафара. С русским соперничали Муркрофт и Гэртри, жившие в Бухаре и Хиве в 1823—34 году (их отравил правитель города Андохой), полковник Коноли, и подполковник Стоддарт, обезглавленные в Бухаре на площади Регистан, и лейтенант Бэрнс, убитый в Кабуле в 1841 году. Нашими предшественниками в Афганистане были прапорщик Виткевич, разведчик, политический агент и ориенталист, затем — члены миссии казачьего генерала Столетова. Этот краткий список завершается именем Корнилова, проникшего в Мазар-и-Шериф, того самого Корнилова, который был главковерхом, был арестован в Быхове и ушел оттуда с текинцами и погиб в гражданскую войну на Северном Кавказе. Увлекательнее всех странствий и жизнеописаний загадочная судьба «русского странствования по странам Востока», прапорщика Виткевича.

Виткевич — поляк по происхождению. В 1815 году, после четвертого раздела Польши, в так называемой русской Польше появились оппозиционные настроения. Второй сейм отказался принять ряд законопроектов, внесенных царским правительством; офицеры и интеллигенция объединились для политической борьбы в тайные общества «тамплиеров», «национальных массонов», «патриотов». Виткевич организовал тайное общество «черных братьев», был арестован, лишен дворянского звания и сослан рядовым в Оренбург. (В то время Оренбург был уездным городом, крепостью второго класса, потерявшей значение после окончательного покорения киргиз, калмыков и башкир). Можно себе представить положение поднадзорного политического ссыльного в Оренбурге. Но из дальнейшей биографии Виткевича станет ясно, что он не пытался сблизиться с оренбургским «обществом»; его заинтересовало коренное

население края — киргиз-кайсацкие орды, киргизы, башкиры, калмыки, их язык, быт и религия. В двух километрах от Оренбурга находится Меновой двор, обнесенный крепостной стеной, восточный базар, где киргизы и башкиры меняли скот на чай и ситцы, и халаты. Сюда приходили караваны больших и сильных верблюдов, кораблей пустыни большого тоннажа. Они доставляли хлопок из Бухары и Хивы и Коканда. Здесь Виткевич открыл для себя ворота Востока. Он изучил арабский, тюркский и персидский языки, от киргиз он заимствовал красноречие, которое ему много помогало впоследствии. Он ездил в киргизские зимовья и стойбища и настолько овладел языком и изучил обряды мусульман, что мог выдавать себя за киргиза. Он оказал ценные услуги оренбургским властям в сношениях с киргизами и, повидимому, умело вел разведку среди хивинских и бухарских купцов. В конце концов Виткевичу дали офицерские погоны — чин прапорщика. Но человек его склада не мог довольствоваться обыкновенным и мирным прохождением службы. Он взял на себя секретные поручения генерального штаба и под видом киргиза проник в Бухару. В «святую Бухару» и страны востока он прибыл под видом мусульманина, как многие из путешественников по Средней Азии, как мнимый мулла Джаффар (преподаватель турецкого и персидского языков в Институте восточных языков П. И. Демезон), как Корнилов, будущий главковерх и белый командарм, и, наконец, как известный полковник Лоуренс — мнимый арабский шейх. Но все же Виткевич был первым из первых. Для разведчиков и тайных агентов России и Англии не стоило труда и сомнений внешне принять ислам, но иногда даже самое точное знание обрядов не спасало от внезапного изобличения. Перед глазами Виткевича была судьба Муркрофта и Гэрти, а затем судьба Коноли и Стоддарта. Однажды эмир Бухары разоблачил фальшивого дервиша и открыл в нем европейца только потому, что тот, слушая музыку, незаметно для себя отбивал такт ногой, по европейской привычке. Будущего главковерха, генерала Корнилова, разоблачили

в Мазар-и-Шерифе, потому что он не совершал некоторых омовений, принятых на Востоке. Виткевич расположил к себе бухарцев глубоким знанием Корана и заимствованным у киргиз красноречием, но не мог отказать себе в авантюристской выходке. На следующий день после приезда он разъезжал по базарам Бухары в форме русского прапорщика. В этом человеке было столько храбрости, хитрости и умения вызывать к себе симпатии, что он благополучно вернулся из Бухары и в 1837 году был послан в Персию и в Афганистан для переговоров с афганским эмиром. В Кабуле произошло состязание, некоторым образом поединок двух разведчиков и авантюристов—русского, прапорщика Виткевича, и англичанина, лейтенанта Бэрнса. И поединок окончился поражением Бэрнса; он был выслан из Кабула по приказанию эмира. Виткевич благополучно вернулся в Петербург и привез договор с афганским эмиром и много секретных материалов. Ему была назначена аудиенция у Николая первого. Это было в 1839 году, за пятнадцать лет до Крымского разгрома. У Николая был миллион штыков; он был жандармом Европы и реальной угрозой Британской империи. Индия — сокровище Британии, Индия, ради которой «каждая британская семья отдаст последнего сына», притягивала Николая. И вот бывший ссыльный, бывший рядовой, отважный разведчик прапорщик Виткевич стоял на пороге почестей и новых авантур. Но в самый день аудиенции у царя прапорщик Виткевич был найден мертвым в гостинице. Поиски романтического сюжета приводят нас к такой версии: британские агенты покончили с опасным противником накануне важных решений, принятых Николаем. Другая версия приводит к самоубийству в результате интриг в штабе. Соперник Виткевича, лейтенант Бэрнс, пережил его на два года. Он погиб в трагическую ночь 1841 года, когда афганцы вырезали шеститысячный английский гарнизон, оккупировавший Кабул, и из всего гарнизона только один человек — британский военный врач — добрался до Джелалабада. Материалы, привезенные Вит-

кевичем в Петербург, исчезли бесследно. В некоторой части их использовал Гумбольдт в книге «L'Asie Centrale».

Читатель не будет в претензии на то, что его внимание отвлечено романтической судьбой нашего предшественника в Кабуле. Обстановка, в которой действовал этот предок полковника Лоуренса, принуждала его к сложной двойственности существования. Европейец, ученый ориенталист лингвист (как Вамбери) должен был уничтожаться под маской узбека, тюрка, мусульманина, которую надо было носить месяцы и годы. Надо было следить за каждым своим жестом, даже мыслью. Сон не давал покоя, потому что слово, сорвавшееся с губ во сне, могло обличить и обречь на смерть тайного политического агента и разведчика. Когда такой человек возвращался в Европу, он еще долго думал на тюркском или арабском языке. Жизнь и странствия прапорщика Виткевича — сюжет для увлекательного исторического романа, если бы можно было найти более подробные и точные сведения о «русском странствателе» по запретным странам Востока. Но даже самые точные и достоверные сведения не ответят нам с полной ясностью на вопрос: почему человек Запада, обрусевший поляк, тяготел к странам Востока, почему его компатриот Осип Юлиан Сенковский — «Барон Брамбеус», русский публицист — был ученым арабистом и путешественником по странам Африки, и почему, например, статуи Будды в Монголии, в буддийском монастыре — Усино-Озерском дацане, «made in Warsaw», сделаны в Варшаве?

Первая и вторая англо-афганские войны в сущности были войной англичан за опорные пункты «активной обороны» Индии, за линию Джелалабад — Кабул — Газни — Кандагар. Движение русских после взятия Геок-Тепе в 1881 году к Мерву и Кушке было борьбой за кратчайший путь в Индию через Герат — Кандагар — Кветту.

В 1878 году, в Кабуле была миссия генерала Столетова. Она обещала эмиру Шир-Али военную помощь России, и это приблизило вторую англо-афганскую войну. «Слово белого царя» и обещания Столетова оказались пустыми сло-

вами: англичане заставили бежать Шир-Али в Россию. Он умер в Таш-Кургане. Русское правительство ухитрилось подготовить себе недруга в лице нового эмира Абдурахмана (в свое время он пользовался сомнительным гостеприимством туркестанского генерал-губернатора в Ташкенте). Но игра кончилась не в Кабуле, а в Европе, когда Россия после русско-турецкой войны под угрозой новой европейской войны принуждена была отступить от чрезмерных требований, предъявленных Турции в Сан-Стефано, и заодно помириться с контролем Англии над внешней политикой Афганистана.

При Александре третьем Россия, однако, продолжала попытки продвижения на юг к Герату. Английская печать тогда упрекала русское правительство в том, что генерал Комаров и русский политический агент Алиханов инсценировали просьбу мервских туркмен и иолотанских туркменсарыков о принятии их в русское подданство. Англия уличала Россию в обмане и подкупе в то время, как была занята приблизительно такими же операциями в Судане.

Александр третий умер, а при Николае втором планы наступления на Индию померкли и отступили перед новыми авантюрами на Дальнем Востоке. Манчжурский разгром сделал русское правительство более сговорчивым. «Король-дипломат и король-дэнди», Эдуард VII добился окончательного разграничения влияний России и Англии в Средней Азии, и царская Россия стояла с 1907 года перед наглухо запертой границей Афганистана. Через двенадцать лет это соглашение перестало существовать, а еще через два года советская колония, почти пятьдесят человек, сидела за длинными столами под кабульскими чинарами и ела ши и «битки по-казацки», приготовленные из афганских барашков поваром Владимиром Григорьевичем.

Эта историческая справка нужна для того, чтобы оценить значение приема в министерстве иностранных дел Высокого и Независимого Афганистана и аудиенции у эмира, которые предстояли нам в июле 1921 года. Изменились методы ведения внешних сношений и методы управления на

территории бывшей Русской Империи, и изменилась политическая ситуация в самом Афганстане, и сэр Генри Добс, чрезвычайный посол Англии, ничего не мог сделать против присутствия в Кабуле советской дипломатической миссии. Кроме этих политических соображений и выводов сама обстановка приема в министерстве и аудиенции у эмира была для нас некоторым напоминанием об официальной, феерически-парадной Индии, Индии вице-короля и магараджей. Экзотический церемониал приобретал еще большую остроту от того, что относился не к путешествующему с дипломатическими поручениями, скажем, герцогу Коннаутскому, а к бывшему студенту Политехнического института или к бывшему матросу линейного корабля или политработнику флота.

Мы шли вечером по аллеям дворцового парка между теннисной площадкой и мавзолеем эмира Абдурахмана. Не подавая признаков жизни, стояли на часах гвардейцы в красных мундирах, среди темной листвы, на ковре из желтых и голубых цветов. Музыканты-индусы играли мелодии, напоминающие музыку украинских кобзарей. В оранжевых тюрбанах они сидели кружком на террасе. Маленький восьмиклавишный гармониум покрывал неуловимую, слегка истерическую мелодию и струнные инструменты, голоса певцов и неуловимый ритм барабанов. Электрические веера крутились в потолке залы для банкетов, слабые дуновения шевелили прозрачные кисейные занавеси, и внезапно открывался темный сад, красные изваяния часовых, острые листья пальм и острия кипарисов. Я оглянулся на моего соседа, славного парня, матроса линейного корабля. Он с тоскливым недоумением смотрел на свой прибор — шесть ножей справа, шесть вилок слева и три разных размеров ложки. До чего это не похоже на Герат, где господа генералы управлялись пятерней. Одетые в европейское платье слуги еле слышно побрякивали посудой, и дворцовые повара доказывали полное овладение тайнами европейской кухни. Старожил полпредства шопотом называл мне седых и смуглых мужчин в сюртуках и круглых каракулевых

шапках. Он сказал, что высокий сердар, министр иностранных дел, долго жил в Турции и Аравии, что он литератор и поэт, что он сочинил краткую историю Афганистана и перевел на персидский язык «Вокруг света в восемьдесят дней». Затем он показал мне Абдул-Хади-хана (мы встретили его в Бухаре, в должности афганского посла). И там и здесь он говорил одни любезности и поблескивал злыми быстрыми глазками. Все речи и реплики были как бы заранее написаны, все улыбки имели определенное значение, вернее — не имели никакого значения. Вокруг было торжественно и чинно, таяли разноцветные пирамиды и башни мороженого и звенели ложечки о стекло. Играл индийский оркестр, и однажды вместо осинового жужжания неизвестной мелодии ухо уловило английский рэгтайм. И вдруг встал плотный, широкоплечий человек в скромной военной форме с ремнем через плечо. Он заговорил несколько хриплым, надтреснутым голосом, с резкими и сильными жестами. В напряженной и наводящей уныние тишине банкета человек говорил так, как совсем не принято говорить в таких собраниях. Джентльмены в сюртуках и каракулевых шапках, слуги в вышитых золотом куртках, музыканты в оранжевых тюрбанах повернули к нему лица, и пламя его глаз зажигало их взгляды. В этом зале, где уже давно веяло скукой, мы услышали возгласы одобрения, прерывающие горячую, почти митинговую, речь. Этот человек был Ахмет Джемаль-паша; он говорил об угнетенных народах Востока и о том, что страна Советов искренно чувствует их освобождению. Только один человек слушал его почти равнодушно; лицо его не выражало ничего, кроме вежливого внимания. Это был Абдурахман-бей, посланник ангорского правительства, представитель новой Турции, Турции Мустафа Кемаль-паши. На речи Джемалья кончился банкет, мы с удовольствием встали из-за стола, и в саду все беседовали просто, почти неофициально, и лукавый благодушный старичок Махмуд Тарзи спрашивал у Раскольникова: «правда ли, что советы хотят установить коммунизм во всех странах». Джемаль-паша смотрел по сторонам боль-

шими, блестящими, выразительными глазами. Наружностью и фигурой он слегка напоминал Тартарена Альфонса Додэ, в особенности когда смеялся, но он был чудесный актер и бессознательно владел тайной перевоплощения. От благодушия он переходил к импозантной сдержанности истинного «гази», родича пророка, наместника Сирии и Палестины, потом вдруг ослеплял афганцев величием и надменностью лучшего друга и наперсника эмира, генералиссимуса и почетного инспектора афганской армии. Но в присутствии падишаха Амманулы, на людях, он преображался в воплощенный символ обожания и преданности падишаху, главе самодержавной и духовной власти; он был как живое олицетворение верности суверену, единственному независимому мусульманскому монарху.

Да, привлекателен и страшен, обаятелен и неприятен был этот человек.

Три офицера, три младотурка — Энвер-бей, Джемаль и Талаат — некогда держали в своих руках Турцию. Они взяли ее силой из рук «больного человека», султана, отравителя, палача, садиста и философа Абдул-Гамида. В изгнании, в Салониках, «кровавый султан» днем и ночью повторял их имена. Он мечтал об утонченных и изощренных пытках и казнях, которым он предаст этих трех человек. Европейец, «реальный политик», «почти материалист», как иногда называл себя Джемаль, однажды сказал Ларисе Рейснер, что «колдун» (Абдул-Гамид) проклял его, Талаата и Энвера и держит в своей руке нити их жизней. Первая нить уже оборвалась насильственной смертью в Берлине Талаат-паши, очередь за Джемалем и Энвером. Джемаль говорил это в то время, когда «колдун» лежал уже в могиле. Лариса Михайловна слушала его, скрывая усмешку, ее забавлял налет фатализма, легкая тень арабского мистицизма в речах «реального политика» и «почти материалиста». Джемаль был прирожденный и увлекательный собеседник. Он находил самые живые, самые увлекательные темы в разговоре с эмиром Амманулой и с депутатом рейхстага и с большевиком.

образованным и последовательным марксистом. В этом случае он сразу находил правильный тон, пышность оборотов и приподнятость и умение подать себя мгновенно исчезали. Он называл себя в разговоре коротко и просто Джемаль, слегка кокетничал демократизмом, не слишком хитрил, понимая, что его удельный вес прекрасно известен его собеседнику, и он очень ясно ощущал пределы доверия ему и его друзьям. С неугасающим любопытством и вниманием он следил за большевиками у власти, он, испытавший на себе головокружительную прелесть, отраву власти, искал у большевиков тех же зловещих симптомов отравления властью — утери политической перспективы, потери связи с народом, с массами, доверившими власть партии пролетариата. Он искал ошибок и не находил, и изумлялся, и не верил своим глазам, видевшим победы и поражения, взлеты и падения.

Он встретил Ларису Михайловну так, как встречаются красивую молодую женщину, европейскую женщину, с которой можно поговорить о модах и театре и музыке, и с первых слов понял, что именно об этом не надо говорить, и он рассказывал ей о Вильгельме Гогенцоллерне, Абдул-Гамиле, Гинденбурге и фон-дер-Гольц-паше, Клоде Фаррере и Пастере и многих других, которых он встречал в своей жизни. Конечно, он не исключал обычных «светских» салонных тем, но понимал, что здесь его сила не в этом. Он не совсем свободно владел французским языком, но выразительность его жеста и блеск глаз пояснял все, что он хотел сказать, и он очень был доволен собеседницей и темой их бесед. Он скучал в Кабуле и в Пагмане — летней резиденции эмира, где жил как наперсник и друг в знакомой атмосфере, дворцовой атмосфере лести и зависти, низкопоклонства и шпионажа, милостей и опалы. Ослепительно красивый щеголь, его адъютант и в некотором роде министр его маленького двора, Исмет-бей, рисуясь, оттенял своего шефа и друга; красивый юноша Суриа-бей был второй тенью Джемалья. Адъютанты делали все, чтобы внушить афганским вельможам и принцам почтительный трепет к «гази»

Джемаль-паше. Но этот торжественный спектакль мгновенно прекращался, когда уходили афганские вельможи и шеф и его адъютанты оставались одни в маленькой вилле Пагмана.

От Кабула до Пагмана тридцать пять километров, крутой подъем, но хорошая автомобильная дорога. За аллеей старых чинар, среди парка белеют крыши европейских вилл. Только однажды вы вспоминаете о стране, где находитесь, и это в ту минуту, когда автомобиль проезжает мимо огромного старого слона с посеребряными клыками. Он прикован к столетним деревьям и с полным равнодушием, слегка покачиваясь, смотрит на пооббегающие автомобили. Ему сто лет, на этом слоне въезжал в Кабул казачий генерал Столетов в то время, когда не было автомобилей и от рабата Калай-и-Кази посольство торжественно въезжали в Кабул на слонах. Но вместе со слонем исчезает ощущение экзотической страны.

В прохладных комнатах дачи Джемалья мебель, обстановка, сами люди возвращают в Европу, скажем в Германию, в загородный дом в Грюневальде. Только здесь, в Пагмане, внезапно возникают и исчезают белые безмолвные тени, афганские слуги. Они подают кофе так, как подавали его кафеджи Джемалья во дворце наместника Сирии и Палестины, — замечательный турецкий кофе. А бывший наместник рассказывает, и в рассказах странствует по берлинскому Тиргартену, является в Потсдаме, во дворце Вильгельма, или влюбл уезжает в Париж, в кабачки левого берега. Обольстительный Исмет заводит граммофон — пластинки приехали из магазина на Курфюрстендамм через Ригу, Москву и Ташкент и дальше на верблюдах в Кабул по Хезарийской дороге. Хозяин весел, галантен и добр, добродушный стареющий лев, решительно неизвестно, где мы находимся — на французской Ривьере или в Стамбуле, и только однажды внимательный гость заметит, как сбегает улыбка с лица хозяина. Только на мгновение хозяин оставляет гостей, уходит на террасу и возвращается, попрежнему ласковый, внимательный, галантный и добродушный,

Большое зеркало стоит против дверей, и оно предательски отражает террасу. Оно вдруг отразило взглянувшему в него человеку добродушного хозяина и слугу в белоснежном афганском платье, и оно внезапно отразило стремительный и короткий удар тыльной частью руки в голову слуги, внезапно склонившуюся на грудь и обгарившую кровью белоснежное полотно одежды. Хозяин вернулся, он просит извинения у гостей — слуга подал остывший кофе, кофе должен быть горячий, обжигающий, ароматный и крепкий, настоящий турецкий кофе. Мой товарищ отошел от предательского зекала, и у него довольный вид, когда надо уезжать. От Пагмана до Кабула автомобиль катится по отлогому спуску, почти не включая мотора, как планирует самолет, и из замаскированной и прикрытой старой Азии мы спускаемся в Кабул, в неприкрытую и незамаскированную Азию.

Аудиенция у эмира Высокого и Независимого Афганистана. Даже в этой торжественной церемонии мы вдруг почувствовали опытную руку наместника Сирии и Палестины, его режиссерская рука успешно боролась с режиссерами из дворца вице-короля в новом Дэли. Младотурки всегда с некоторой завистью вспоминали о торжественности и блеске селямиков кровавого султана и пытались затмить режиссерский гений и выдумку старого колдуна. Я помню утреннюю суету, одевание и бесконечные разговоры об аудиенции — эта суета имела значение, потому что небрежность с нашей стороны самолюбивые вельможи приняли бы за пренебрежение к афганскому суверенитету. В одиннадцать часов подали кареты, и через десять минут мы были в приемной министерства. Задыхаясь в тугом мундире, звеня орденами, каждого соответственно рангу встречал Махмуд Тарзи. Четверть часа неизвестно почему мы сидели на хрупких вызолоченных диванчиках и, задыхаясь от жары и жажды, пили вишнево-красный, противно сладкий чай из граненых стаканчиков. Позвонил телефон, и секретарь министра (или церемонимейстер) осторожно, как живое существо, взял трубку дворцового телефона, поч-

тительно поворковал в нее и повернулся к Махмуду Тарзи, и тогда министр встал со значительной и удовлетворенной миной. Звеня орденами и блистая золотом, чиновники и генералы вышли на парадное крыльцо. Шестьдесят человек нестерпимо для глаз сверкали под солнцем тридцать второго градуса. Как золотые жуки, они охватывали нашу группу, и мы совершенно потускнели рядом с этим сиянием, мы в наших скромных черных визитках и пиджаках и белых морских кителях и защитных формах. Кареты едут между выстроенных шпалерами войск. За спинами солдат довольная, обрадованная «тамашей» толпа базарных зевак и бездельников. Каски и султаны, значки и золотое шитье поблескивают в облаках пыли. Через пять минут мы во дворе дворца Дэль-Куша, перед войсками, выстроенными оранжево-зеленым четырехугольником. Мы втайне сочувствуем товарищам, которые смутно догадываются о том, что собственно надо делать и как здороваться с почетным караулом, потому что это ничуть не похоже на революционные парады и празднества. Но все видят, все знают кабульские старожилы полпредства, и мы идем за ними как покорные школьники. По мраморной лестнице вестибюля золотым каскадом стекают к нам навстречу министры. Они встречаются с нашей серенькой и скромной группой, и мы все вместе поднимаемся вверх между окаменевшими гвардейцами и чуть вздрагивающими клинками. Обыкновенный двусветный дворцовый зал, малиновый бархат, золотые стулья, хрустальная сень люстр и два больших вращающихся винта электрических вееров. Махмуд Тарзи, волоча ноги, идет к правой двери. Гигантского роста телохранитель, с усами как у древних галлов, открывает дверь, и министр легко проскользнул в щель, в которую, кажется, не мог бы пройти ребенок. Мы глазеем по сторонам и, развлекшись, рассматриваем нашего толстого мехмандара, человека-кактуса из оражерей в Кала-и-фату. Но дверь открывается, и к нам выходит довольно полный молодой человек. Он в скромном, черном мундире; на зрете его круглой шапки и на рукоятке сабли сверкают большие бриллианты. Он

протягивает каждому из нас по очереди руку и спрашивает каждого о здоровье, о том, как мы перенесли путешествие, и не вреден ли нам горный климат Кабула. Когда он выпускает вашу руку, вы, как полагается, отступая делаете полукруг и останавливаетесь у стула и маленького столика, где лежит карточка с вашим именем. Когда эта часть церемонии кончилась, повелитель Афганистана садится в кресло. Садимся и мы и смотрим, как повелитель играет перчаткой и отмахивается от мух золотой палочкой с кистью из конского волоса. Он смуглый, загорелый молодой человек, с бархатными, как бы приклеенными, усами и живыми глазами. У него несколько полные губы, он даже красив, относительно красив, во вкусе, скажем, Леона Дрея из города Одессы.

Аудиенция длится ровно час и кончается к общему удовольствию. Еще через полчаса мы снимаем промокшие влажные тряпочки — бывшие крахмальные воротнички, визитки и пиджаки. В это же время повелитель тоже снимает с себя негнувшийся мундир и регалии; шапка и сабля с бриллиантами убираются в стальные кладовые, и он надевает полосатый френч, бриджи, краги, башмаки, садится за руль машины «Нэпир» и удирает в Пагман, где тень, парки и прохлада.

За проволочными сетками бродят ручные газели и джейраны и внимательными агатовыми глазами глядят на людей, обезьяны стрекочут и гримасничают в зелени, и Джемаль-паша рассказывает ему о Париже и Риме, Берлине и Стамбуле. Он рассказывает эмиру о дредноутах и ресторанах, о метрополитэне и Луна-парке, о танках и балете, о локомотивах и синематографе. Он говорит с Амманулой, как Лефорт и Брюс говорили с молодым Петром первым, и между прочим, как бы нечаянно, он роняет в сердце эмира семена честолюбия, напоминает о великом предке и соплеменнике из племени Дурани, эмире Ахмет-хане. Ахмет-хан имел всего три тысячи всадников, когда восстал и отделился от Надир-шаха, и что же случилось: Ахмет-хан подошла начало государству Афганистан; он был в Лагоре

и сидел на золотом троне великого Могола. И лукавый царедворец дразнит молодого эмира дыханием Индии, Дэли, Лагор, Калькутта звучат в ушах эмира, как звук боевой трубы. В сущности он, эмир Амманула-хан,—единственный повелитель правоверных на земле, повелитель ста миллионов мусульман Индии и всех других в землях халифата с тех пор, как Мустафа Кемаль-паша лишил трона султана. Лукавый царедворец целует руку эмира, единственного независимого повелителя правоверных, и уходит отступая, закрывая лицо как от нестерпимого света, как полагается уходить, от лика падишаха. Молодой эмир еще долго мечтает о золотом троне Лагора, о Самарканде и Стамбуле, мечтает и пробуждается и видит Афганистан, голые сожженные солнцем горы, бедный старый Кабул, жалкий народ пастухов и глупых ханов и изуверов-мулл. У него сжимаются кулаки и челюсти, и он знает — будет много работы гератским и кандагарским палачам, но будут в Афганистане железные дороги, телеграф и синематограф и новая столица Деруламан. Потом он мечтает о дальних странствиях и чудесных столицах, но эмир Афганистана не должен покидать свою столицу Кабул: здесь брат отнимает трон у брата и заодно отнимает у него глаза и жизнь.

Прежде повелителя уезжает в Европу сам Джемаль. Он путешествует, как султан, под священным зеленым знаменем, с конвоем эмирской гвардии. Он едет мимо кишлаков и городов, на нем зеленая чалма; он строго соблюдает омовения и молится и беседует с Аллахом, как родич пророка и близкий Аллаху человек, воин и духовный вождь правоверных. Афганские крестьяне припадают к стремени «гази», целуют следы копыт его золотистого арабского коня. Ночью в роскошном шатре, походной палатке, он с удовольствием выкурит сигарету и за кофе отопьет из секретной походной фляжки глоток коньяку. Он с удовольствием думает о том, что через два месяца будет в Берлине, в своей квартире на Курфюрстендамм, вечером, как добрый семьянин, вместе с семьей, посмотрит новую программу Винтергартена и ужинать будет у Кемпинского. В Москве

он и Исмет посетят знакомых актрис в Первом Колобовском переулке и в уплотненной московской квартире Ахмет Джемаль-паша будет пить чай с вареньем и не совсем отечески трепать по щеке актрис, приятельниц Исмет-бея. А в общем ему страшно оставаться одному. На нем много крови, у него мало друзей, он чужд новой Турции, Турции Мустафы Кемаля. Там живут чужие, особенные, незнакомые ему люди. В Герате его караван обгоняют наши дипломатические курьеры. Он глядит на них и узнает армянина в девятнадцатилетнем, загорелом, как мулат, наезднике, говорящем по-тюрски — как тюрк, по-персидски — как перс. И он спрашивает полушутя-полусерьезно моего друга и товарища Аршака Баратова: «Ты большевик или дашнак?» — «Я — комсомолец», отвечает ему Аршак, не глядя на Джемалья, лихо пускает коня в карьер, и Ахмет Джемаль-паша, бывший морской министр Турции и бывший наместник Сирии и Палестины, тайный атеист и массон, готов благодарить Аллаха за то, что встретившийся на его пути Аршак Баратов — не дашнак. Он, Ахмет Джемаль-паша, честолюбец, эпикуреец, царедворец, мудрый как змей и увертливый как лис, пробует понять, что же произошло в бывшей России, почему для Аршака Баратова выше мести, национального возмездия, выше национальной вражды, креста и полумесяца и всех национальных и религиозных эмблем — звезда Интернационала.

И он плохо спит эту ночь, Джемаль-паша. Он опять видит нить своей жизни в руках «старого колдуна» Абдул-Гамида; проклятая нить соединяет его с кровавым султаном. Он, Ахмет Джемаль-паша, не сумел порвать эту нить, и он и Талаат, и Энвер шли по кровавым следам «старого колдуна», когда отдали на истребление и мученическую смерть сто, двести тысяч турецких армян. И вся его жизнь, жизнь льстеца и честолюбца, царедворца и воина, в сущности уже зачеркнута новым веком и новым, меняющимся у него на глазах миром. В конце концов придется дать ответ за ложь, за жажду власти, за кровь народа, которую он допустил пролить, и дело не в итоге, который подведет

цуля дашнака, а в суде истории, суде новой Турции, молодого и незнакомого племени.

Случилась странная вещь. На некоторое короткое время «адмиралтейские вечера» перенеслись из Петрограда в Кала-и-фату. Под абрикосовыми деревьями на траве собирались «профессиональные собеседники», как их называла Лариса Михайловна. — Кириллов и Синицын, братья Калинины, Павел Иванович — балтийский моряк со скрипкой, комендант, окончивший Петербургскую консерваторию, — неперменные участники вечеров; затем на пегих, вороных и бурых конях приезжали верхом из Кабула современатели. Внезапно начинался литературный и музыкальный вечер и вечер воспоминаний. Приезжал бывший начальник тыла Волжско-каспийской флотилии, в нежно-голубом, лазоревом пиджаке. Он выбрал материю в темной Кабульской лавке и отдал ее портному, даже не взглянув на нее; портной принес ему готовый костюм — афганские портные пренебрегают примеркой — и он увидел пиджак и брюки нежнейшего жандармского голубого цвета. Товарищи, у которых с голубыми мундирами были связаны воспоминания бурной юности, никак не могли привыкнуть к этому цвету.

Гиндукуш, около тысячи километров отделяло нас от родины, три месяца отделяли нас от весны 1921 года, сложность передвижения и неправдоподобный, невообразимый быт заставляли вспоминать недавнее прошлое, как вспоминают невозвратные, далекие дни. Наши воспоминания относились к далекому Петрограду, далекой Волге и Каспию и еще более далеким или ушедшим навсегда людям. Они, может быть, утратили некоторую долю реальности, но приобрели привлекательную романтическую дымку. Я помню рассказы об Азине, смелом до дерзости командарме в боях за Волгу (о нем очень хорошо рассказано в книге Ларисы Рейснер «Фронт»). Я помню веселый рассказ Миши Калинина о небывалом спектакле фронтовой труппы в Дубовке. Самое замечательное в этом спектакле было то, что рядом с действием пьесы на сцене шло захва-

тывающие, волнующие действие в зрительном зале, в публике. В ночь отступления из Дубовки Лариса Михайловна, Раскольников, член Ревсовета Михайлов и некоторые штабные и политические работники пришли в театр. Несмотря на эвакуационные настроения театр был полон, актеры играли несколько нервно и неровно, прислушиваясь в паузах к недоброй ночной тишине. Азин любил музыку (на фронте он не расставался с оркестром) и любил театр. Он с удовольствием слушал актеров, хотя его несколько отвлекали адъютанты. Они запросто подходили к нему во время действия и явственным шопотом сообщали: «пластуны в восьми верстах», «пластуны в трех верстах», «разведка пластунов...» Так пластунская отборная бригада белых неуклонно продвигалась и к третьему акту пьесы оказалась у самой Дубовки. Ряды партера постепенно пустели, но в первом ряду невозмутимо сидел Азин, изредка отдавал адъютантам боевые приказания и глубоко переживал трагедию Шиллера. Его соседи по первому ряду недоумевали, переглядывались, шептались, но все же сидели на месте. Командарм не проявлял никакого беспокойства, чего нельзя было сказать об актерах. Они играли как-то наспех и без темперамента. В середине последнего акта режиссер, осторожно отстранив Фердинанда, подошел к рампе и спросил Азина, не будет ли своевременным прекратить спектакль, тем более, что пластуны... «Продолжать», — сурово сказал Азин, и Фердинанд в белом парике покорно взялся за отравленный лимонад и бедная Луиза продолжала агонизировать. Занавес дали несколько раньше, чем полагалось, и сорвали реплику президента. Азин несколько не торопясь встал, распорядился, чтобы оркестр сыграл разгонный марш, как полагается после конца спектакля, но публика разошлась на позиции после третьего акта. За кулисами Фердинанд впопыхах надевал папаху поверх пудренного парика и Луиза билась в настоящей истерике. Затем Азин вышел из театра, сел на коня, и все в полном порядке оставили город.

Тут начался среди нас горячий спор. Миша Калинин

утверждал, что никаких пластунов в ту ночь не было ни в восьми, ни в трех верстах, и Азин сам придумал эту штуку, чтобы узнать, как он выражался, «удельный вес», испытать храбрость командиров и политических работников. Другие утверждали, что пластуны были, но остановили наступление, потому что их поразила тишина и порядок в Дубовке; они испугались засад. Но так или иначе все соглашались, что в ту ночь красные в полном порядке отошли. Мой сверстник слушал рассказ и споры и попросил внимания.

— Я слушал вас, — начал он, — вижу, что вы все в общем искали опасностей. Но я (нельзя сказать чтобы я был трус), я — осторожный и в общем сдержанный человек, я не тороплюсь переходить через улицу, я не люблю толкаться в очередях, я не участвую в уличных спорах и ссорах и все же с самых детских лет я попадаю в рискованные и опасные положения. Тринадцати лет от роду, в потемкинские дни, я угодил под обстрел в Одессе, когда горел порт и полиция и казаки стреляли в рабочих со стороны Греческого моста. И с тех пор пошло. Вот я теперь в Афганистане, за пять тысяч километров от милой родины, в полудикой стране, где убивают послов и запросто пытаются и казнят... О, милая родина! Счастливая, невозвратимая пора — детство. Милое детство, когда в один тихий воскресный полдень мы посредством рогатки разбили все стекла в пустом здании казенной палаты. О, детство, когда при помощи простой спринцовки мы залили чернилами серебристо-белый, чертовой кожи, китель с погонами неизвестного ведомства...

— Да, я помню, — внезапно прервал рассказ земляк моего сверстника, — я помню этого болезненного и хилого, вихрастого мальчишку. Он учился в двухклассном городском училище. Однажды на катке он подбежал к здоровенному реалисту семикласснику, ударил его по уху и, показав перочинный ножик, деловито убежал. Милый ребенок!

— Я продолжаю, — вздыхая, сказал мой сверстник. —

Каким образом я мог очутиться в Афганистане? Впрочем, если не скучно, я расскажу вам... Это будет только краткое жизнеописание моего отца и дядей, моего деда и бабки. Несвоевременные, но все же любопытные биографические повести. Не думайте, что я перенесу вас в тихое дворянское гнездо или в замоскворецкий купеческий особнячек.

В восьмидесятых годах мой дед был арендатором постоялого двора на Вольных, в предместьи губернского города. Мои младенческие воспоминания связаны с здоровым запахом навоза, с сараями, крытыми соломой, и всевозможными экипажами — желтыми дилижансами, запряженными шестеркой одров, бричками, фаэтонами, шарабанами. Я помню рослых тайдуков в двухэтажных кэпи с большими клеенчатыми козырьками, в ливреях с большими медными пуговицами. Наконец, я помню возы, покрытые парусиной, и осипших бородатых извозчиков; они назывались балагулами. — Он посмотрел на абрикосовые деревья и крышу афгано-индийского бэнгало и вздохнул: — Да, я родился в тихом, славном, — как говорится, утопающем в садах — городе, в городе с учительской семинарией, гимназией и приютом для малолетних преступников. Моего старого и доброго дедушку обижали физически и устно проезжающие польские паны; городской, по местному десятник, был для него божьей карой, и выше десятника стояли только графы, князья и цари. Мой дед женился в зрелом возрасте на шестнадцатилетней красивой девушке из семьи, стоявшей двумя-тремя ступенями ниже арендатора постоялого двора. Она прожила с ним двадцать четыре года, родила пять сыновей и одну дочь и сорока лет от роду убежала с местным нотариусом в город Одессу, захватив младшего сына и дочь. Это был исторический скандал на всю губернию и губернский город, и старик, ранее выпивавший одну рюмочку по большим праздникам, стал выпивать чаще и даже с проезжими извозчиками-балагулами; в конце концов он опустился на одну социальную ступень ниже и, пожалуй, в наше время оказался бы в числе необ-

лагаемых трудовых элементов. При старике некоторое время оставались четыре сына. Старший, впечатлительный Авель, не вынес первых еврейских погромов эпохи царя-миротворца и бежал в Америку и исчез там бесследно ровно на сорок два года. Затем разбрелись по России три других сына. Мой отец был наборщиком, потом ментранпажем, потом пошел в театр и сделался актером и режиссером; на этом и кончилась интереснейшая часть его биографии. Третий сын был слесарем, затем выработался в монтера и механика. Он купил в Москве жалкие останки автомобиля Пежо и привез и пустил в Одессе первый в городе автомобиль. Это дало ему славу и деньги. Для начала он открыл велосипедную мастерскую и так как в воскресный день с утра и до вечера выпивал сорок восемь кружек пива в «Старой Баварии», то привел мастерскую в полное расстройство и тоже ушел в театр. Он был скромным театральным работником и только раз в сезон, в свой бенефис, выступал в «Князе Серебряном» в роли богатыря. (Я забыл сказать, что он весил семь пудов и имел нос, как говорят, поврежденный ударом железного аршина. Однажды в Донецком бассейне он ушел от грабителей, выбросив им из саней ямщика). Он умер от болезни почек, как исторический алкоголик Александр третий. Другие братья ничем не выделялись; впрочем один по слуху играл на всех инструментах и тоже был актером. Он боялся одиночества и темноты, был мнителен до сумасшествия и здоров как атлет. Единственная тетка вместила в себе всю мягкость характера и благожелательность, которую природа отпустила на всю семью. Я еще забыл сказать о бабушке. Она похоронила своего нотариуса и занялась коммерцией и игрой на бирже. Эта была крупная, властная, молодящаяся старуха. В шестьдесят шесть лет от роду она была приговорена по совокупности на два года арестантских рот за избивание судебного пристава, симуляцию у себя грабежа и шантаж страхового общества. Вот и все. Да, по поводу американского дядюшки, бежавшего в Америку сорок два года назад: он был в числе пионеров, построивших город

Портланд на тихоокеанском побережьи. По несчастной случайности он застрелил жену и стал мэром города и, кажется, сенатором. Он переменял имя — его зовут Вильям Алиани. Все.

— Вы спрашивали, — сказал земляк, — вы спрашивали себя, что привело вас в Кабул? По-моему, теперь ясно. — И он посмотрел на окружающих.

И все ответили хором:

— Да, ясно.

Три месяца в Кабуле прошли невообразимо быстро, гораздо быстрее шести недель путешествия. Мы жили на острове, пятьдесят Робинзонов с двухкилоауттной станцией, с газетами «Правдой» и «Известиями», приходящими через семь недель после выхода, и с «Пайониром», «Сивиль энд Милитэри», приходящими из Индии на третий день. Индийские газеты первыми сообщили нам о голоде на Волге. Официальные газеты писали, что голод — бич божий, покаравший большевиков. Газеты Конгресса кратко сообщали о голоде; они не распространялись на эту тему может быть потому, что в Индии голод — бытовое явление. Наконец радиостанция приняла радио, его расшифровали с трудом и первое известие из Москвы походило на документ, найденный в бутылке, записку, наполовину размытую волнами. Мы узнали правду о размерах бедствия. Собрание нашей колонии было траурным и коротким. Мысль о голоде в Поволжьи среди излишеств, банкетов и приемов была особенно горькой и тягостной мыслью. Мы купили у афганцев хлеб, караваны верблюдов, лошадей и осликов подвели его к Кушке, и старый состав миссии, возвращаясь на родину, привез с собой эшелон хлеба голодающим. Мы проводили чрезвычайного полпреда, его сотрудников и радиотелеграфистов (они прожили почти два года в Кабуле) и остались лицом к лицу с насторожившимися афганцами. Афганские сановники охотно склоняли слова «дружба», «Афганистан», «Советская Россия», но некоторые подумывали о благословенной поре эмире Абдурахмана, когда Афганистан не был ни «высоким», ни «незави-

Симым», но получал чистым золотом и в срок субсидию вице-короля Индии. Они по-своему оценили значение голода на Волге и траурное настроение на советском острове понимали, как признак страха и неуверенности в будущем. Сэр Генри Добс не упускал случая во-время вернуть слова «пропаганда» и «коминтерн», и две недели афганские солдаты ходили за нами, как тени. Это была наивная и грубейшая слезка, какую я когда-нибудь видел. Она выражалась в том, что афганский солдат, увидев кого-нибудь из нас за воротами представительства, шел или ехал верхом за нами, буквально дыша в спину. Мы протестовали и возмущались и наконец сделали из этих наивных шпионов простых носильщиков и проводников по базару. Секретари британской миссии не без удовольствия совершали прогулки верхом мимо ворот полпредства и недвусмысленно веселились, но скоро положение выровнялось, афганские вельможи постепенно привыкли к нам, наконец голод на Волге не опрокинул советского строя, как утверждали английские агенты, и афганцы убрали шпионов. Тридцать два человека — советский остров среди чужого моря — жили своей жизнью. Наши врачи лечили больных в афганской больнице; радиотелеграфисты старались победить несовершенство станции и атмосферические условия; секретари и советник ездили в министерство; мы составляли еженедельные политические и экономические обзоры положения в Индии, не слишком много работали, немного учились, в меру ссорились. Если первые три месяца пролетели так быстро, что некогда было оглянуться, то четвертый месяц начался довольно уныло, и многие с тоской подумывали о кабульской зиме, точно это была полярная зимовка. Чистый горный воздух Кабула (шесть тысяч футов над уровнем моря), экзотическая обстановка кабульской жизни и даже легкий ветер Индии из-за Сулеймановых гор постепенно утратили очарование. Ощущение отдаленности родины, тысячи километров горных хребтов и долин, тридцать дней пути, отделяющих нас от советской границы, наводили тоску, и потому я с некоторой радостью прочитал

приказ: «С получением сего предлагаю Вам отправиться в г. Герат, где явиться в генконсульство РСФСР, куда Вы назначены на должность секретаря».

От Герата до Кушки сто двадцать пять километров, и там ветер Индии я менял на ветер Страны Советов. 15 октября 1921 года я простился с Кабулом и Ларисой Михайловной. На расстоянии десятилетия мне кажется, что это и было последним прощанием с Ларисой Рейснер, что это прощание было эпилогом всех встреч и странствий. Они начались в 1914 году в купеческой Москве и кончились в Кала-и-фату, когда осенний кабульский вечер еще выдавал себя за летний, но когда на рассвете гора над Кабулом покрывалась прозрачным снежным серебром. Мы простились не без волнения, потому что позади были два бурных года на Балтике и в Средней Азии, потому что мы помнили вечера в Адмиралтействе и первый вечер на афганской земле и вечера в Кала-и-фату. В сущности это и было последнее прощание. Встречи в Москве в 1923 году, в обстановке литературной суеты, не имели ни прежнего значения, ни прежней искренности. Там, в Москве, мы перестали быть товарищами, а стали старыми знакомыми. Есть жестокое различие в этих словах.

Из Кала-и-фату в тот вечер я поехал верхом в Кабул. Я проехал мимо ворот полпредства, поглядел на огонек в окне Рикса (может быть, именно в этот час он писал каллиграфическими буквами письмо в министерство по поводу моего отъезда). Мехмандар гулял у ворот, не мехмандар-кактус, а мехмандар с ангорскими кошками, добродушный седой усач, любитель красивых кошек. Я проехал к стене цитадели и дальше, мимо крохотного, похожего на гипсовую статуетку, памятника войны за независимость.

Аллеи Чамана и ипподром. Афганские щеголи горячили тысячных жеребцов; звенели звонки велосипедистов и извозчиков-багиванов. В придворной карете проехали дамы. Закутаные в непроницаемую вуаль головы в старомодных шляпах казались странными, спрятанными от мух плодами. Потом проехал автомобиль, и я увидел

молодого человека в спортивном костюме, знакомое лицо рано полнеющего молодого человека с бархатными усами. И турецкий офицер, ехавший впереди меня в экипаже, вдруг встал и, стукнувшись головой о поднятый верх, отдал честь с окаменевшим лицом. Я тоже поклонился эмиру; он ответил и, оглянувшись, с явным любопытством посмотрел вслед. На ипподроме несколько тысяч кабульских граждан стояли на коленях — общая вечерняя молитва. Наклонялись и поднимались тюрбаны, как бутонь больших роз. Вспыхнули электрические огни. Я остановил коня у радиостанции и зашел к радиотелеграфистам. Мы простились и выпили «посошок на дорожку» — доброго английского виски, пахнувшего аптекой и плесенью. Потом я проехал на Пешаверскую дорогу. Здесь уже не было всадников на тысячных жеребцах и велосипедистов. Огни Чамана мигали позади. Два радужных огня выплыли из темноты, два фонаря автомобиля; грузовик испугал мою лошадь. Индус-сипай сидел рядом с шофером. Вчера, а может быть сегодня на заре, грузовой автомобиль оставил Пешавер. Он пересек Сулеймановы горы. Пыль на брезентовой крышке — пыль Хайберского прохода, пыль Пешавера. А может быть это пыль «Grand Trunk Road» — великого торгового индийского пути... Здесь, на Пешаверском пути, кончился для нас великий древний путь из Балтики к Индийскому океану. Сорок часов, еще сорок часов — и будет Индия. Сначала форты, блокгаузы, аэродромы, проволока северо-западной границы, потом город-парк Пешавер, аллеи и виллы британских офицеров и чиновников, дальше — страна трехсот двадцати миллионов бедняков; Индия магометан, индусов, сикхов и персов, тысячи сект и каст, Индия Конгресса, Ганди и Джавахарлал Нэру, Индия халифата, братьев Али — триста двадцать миллионов враждующих, проклинающих и ненавидящих друг друга, и над этим разрозненным, разноплеменным миром единая воля — «разделяй и властвуй» — старый как мир рецепт тирании; Индия вице-королей — новый Дэли, Амритсар, площадь, где ге-

нерал Дайер повторил в 1919 году кровавое воскресенье Николая второго, положил начало методу управления колониями, называемому «дайеризмом», и получил за это почетную саблю и сто тысяч фунтов по подписке от британских аристократов; Индия раджей, королевских тигров, королевской кобры, Индия двенадцатилетних жен и вдов, которых уже не сжигают на кострах, но было бы милосерднее их сжигать, чтобы не оставлять жить в рабстве и несправии. Индия туземных капиталистов, которым англичане кинули подачку, седьмую часть вложенных в индийские предприятия шестисот миллионов фунтов, и они верно служат Англии за эту подачку и служат потому, что три миллиона индийских пролетариев научились бастовать и устраивать демонстрации. В 1921 году слово «коммунизм» уже было произнесено в их рядах, и с тех пор его нельзя заглушить ни исступленной бранью националистической печати, ни ружейным огнем. Продажные перья уверяют мир, что народ Индии не может стать независимым, потому что это извращенный, выродившийся народ; лжеученые утверждают, что все дело в земляном черве, он будто бы проникает под кожу босым индийцам и делает их апатичными, инертными и неспособными к самоуправлению. Человек смотрит в сумерки и видит черепок месяца, синие тучи над горами Сулеймана; перед ним мрак, тьма и ночь.

«Кали юга» — время мрака — называют индусы сегодняшней день Индии. Но «кали юга», время мрака, на исходе.

Человек поворачивает коня и едет на огни Чамана и слышит национальный афганский марш гвардейских музыкантов. Он едет на свет, на электрические огни и прощается с Кабулом и тремя месяцами кабульской жизни; он не забудет древнего, разбросанного по долине города, древние развалины на горе, цитадель Арк, Шиоапурский лагерь, где держался и держал под угрозой Кабул осажденный газнийским народным ополчением фельдмаршал лорд Робертс; он запомнит лабиринт базаров и отливы кожи племен и рас, разнозвучные оттенки этих наречий:

он не забудет дыхания чудесной, страшной и запретной страны за Сулеймановыми горами; его всегда будет манить в Кабул, и, слегка изменяя текст, он будет повторять слова Тагора:

«Это было слишком коротко. О, если бы я мог быть здесь в следующее воплощение».

Прощай, ветер Индии!

6. ЗИМА И ЛЕТО В ГЕРАТЕ

В двадцать дней мы сделали путь из Кабула в Герат. Серебряные снеговые змеи в горах превратились в сияющие снежные пространства — поляны. Ночью на сбруе и седлах оседал серебряной пудрой иней. Морозный воздух бодрил людей и коней; мы путешествовали легко и торопились в Герат, хотя горные проходы были еще открыты — Хезарийская дорога обыкновенно свободна от снега до конца ноября. Мы торопились и однажды сделали девяносто километров в одни сутки — двенадцать-четырнадцать часов в седле. В тот день мы пропустили два рабата и, приободрившись, проехали мимо гудандаров, выбежавших навстречу странникам. Каждый час и день приближал нас к Герату и родине. На половине денного перехода в девяносто километров мы сделали привал у ручья, у развалин замка афганского феодала. Башни хорошо сохранились, но внутри все рухнуло и поросло сухим и цепким кустарником. Черный провал открывал ход в подземелье, подземную тюрьму. Гробовой мрак, только серебряным ручейком бежал свет по узкой щели бойницы и ударялся в противоположную стену. На стене острым камнем нацарапан рисунок — кораблик с треугольным парусом и зигзаги морских волн, грубый и наивный рисунок, мечта о свободе, о вольном парусе и вольном море. Кто были пленники афганского хана? Кто за много миль от морей и кораблей нарисовал кораблик и зигзаги морских волн? По чьим костям мы вышли на свет к солнцу и блистающей синеве неба? И наконец — кто разрушил ханский замок: время, горные воды или взбунтовавшиеся рабы?

Поздним вечером, погибая от усталости и жажды, мы наконец увидели вышки рабата, увидели — и не поверили,

как не верят в мираж. Мы ехали пять, десять, пятнадцать дней, ехали чуть не вдвое скорее, чем три месяца назад с караваном, и все же потеряли счет дням в дороге и наконец увидели восточную башню Герата и «Елисейские поля» и белый дом консульства. Кавалерийские значки были воткнуты в землю перед воротами дома, кареты и всадники ожидали наместника и генералитет Герирудской провинции. Тогда мы поняли, что день приезда в Герат был днем седьмого ноября, двадцатым днем нашего путешествия и четвертой годовщины власти Советов. В гератском консульстве был прием по случаю годовщины Октябрьской революции. Кто мог бы предсказать мне и моим спутникам, что четвертую годовщину Октября мы встретим в Герате!

Феноменальный девяностолетний старичок и его секретарь Ахмет-хан, красивый, презрительный мулла, с прозрачным и чистым лицом, встретил меня как старого знакомого. Я был у них в Чаар-Бахе и официально представился старику в качестве нового секретаря консульства. Он попрежнему чудил, лепетал глупости, почесывался. Ахмет-хан сдержанно и коротко пожаловался на «русских джемшидов», которые будто бы нападали на афганских пастухов и отбивали у них стада, — старая вечная история. Джемшидское племя перекочевало на советскую территорию, племя нищих воинствующих пастухов. У джемшидов были старые счеты с афганцами, кровавые счеты, где цифры показывали число угнанных баранов, верблюдов и отрубленных голов. Все это вместе называлось у нас «джемшидский вопрос». Старичок слушал Ахмет-хана, радостно кивал головой; мы изображали на лицах вежливое сомнение. Гератские будни. Мы делали вежливо-сокрушенные лица — дни старика были сочтены; дородный, холеный, свежее-выбритый, пахнувший одеколоном министр полиции Шоджау-Доуле — «птенец гнезда Петрова», любимец эмира — был назначен наместником в Герате вместо жизнерадостного старичка. Новое поколение, тридцать человек молодых офицеров и чиновников отправлялось на за-

воевание Герирудской провинции. И острота положения заключалась в том, что мы все четверо — наместник и Ахмет-хан, консул и я — знали о перемене, но делали вид, что ничего не изменилось в старом Герате. Старая средневековая мельница, скрипучее деревянное колесо крутилось и выматывало жилы из бедного пастушеского племени и дробило черепа непокорным. Муллы, палачи, сборщики податей, офицеры, судьи жили в старом Герате как три месяца, три года, триста лет назад. Старый Герат не понимал никакой тонкости в методе управления, в сношениях с иностранцами. Этого не мог понять бедный тюрк из Хоросана Мурад, более известный в Мешхеде под кличкой Мешеди. Резвые ноги принесли его в старый Герат после беззаботной эпикурейской жизни в милом и расслабленном новом веком Мешхеде. Он жил в Мешхеде как вольная певчая птица (их любят и ценят персы); сорока приносила ему на хвосте новости, он разносил «хабарчи» — слухи и сплетни, подхваченные на базаре. Вольная певчая птица, он пел простые, как апельсин, песенки, которые любил слушать французский консул: «сафир-джермани ездил к губернатору насчет десяти пулеметов, которые привезли из Германии под видом швейных машин»; или такие новости, которые любил английский консул: «кавказцы-тюрки ходили к сафиру-руссия совет и просили пустить их обратно в Баку». Он не забывал и германского консула: «сафир-франсия, сафир-энглези были у губернатора по поводу десяти пулеметов, которые купили под видом швейных машин». . . Так просто и невинно жил Мурад-Мешеди. Однажды в месяц он получал свои пять туманов у сафира-энглези и пять туманов у француза, два-три тумана перепали ему от скупого сафира-джермани. Он не забывал и начальника мешхедской полиции; этому он добросовестно рассказывал, что собственно интересует господ консулов и за какие «хабарчи» они платят туманы Мураду. Так он жил, как птица, всегда имел свой чурек, зеленый чай, плов и горсточку анаши. Он слушал игру на таре, видел пляски бачей, играл в игру, напо-

минающую кости, с базарными бездельниками, пил дряненькое вино, как учил Хаяйм:

Слышу, как рассуждают о наслаждениях для избранных, и говорю:
Я не верю ни во что кроме вина,
Звонкой монетой и никаких обещаний,
Гром барабанов приятен на расстоянии.

Так протекали труды и дни Мешеди: мешхедское солнце, сок винограда, «хабарчи», серебряные полновесные туманы господ консулов. Но в Хоросане случилось восстание Магомета Таги. Мешеди принял его как праздник. Никогда господа консулы не были так щедры на туманы, никогда не был так обилен урожай «хабарчи» на мешхедских базарах, скромное и в меру эпикурейское существование Мурада-Мешеди грозило обратиться в сытое довольство. Туманы не переводились в его тайничке, обилие туманов даже пугало бедного Мешеди; он никогда не имел ничего, кроме рваного ватного одеяла зимой, он не имел никакой крыши, кроме звездного купола или свода караван-сарая над головой. Он испугался обилия туманов и значительной мины, с которой его слушали секретари сафиров. Однажды его даже допустили к самому сафиру-англези. Но все успокоилось. Магомета Таги убили. Новый губернатор и новый начальник полиции приехали из Тегерана в Мешхед. Однажды два персидских казака растолкали спящего в тени чинары Мурада-Мешеди; они привели его к новому начальнику полиции, и Мешеди исчез ровно на четыре дня. Он пришел в мешхедские бани, хромая и кашляя; синие полосы выступали у него на спине; он жалостно застонал, когда банщик попробовал великое искусство массажа, которое сохранилось только в бывших банях Орбелиани в Тифлисе. Шесть азербейджанских тюрок исчезли вскоре после возвращения под кров базаров Мурада-Мешеди. Четверо были повешены с боем барабанов на площади, где учат маршировке и ружейным приемам солдат. Их видели в свите Магомета Таги в тот месяц, когда он владел Хоросаном. Тела

повешенных выдали родственникам; родственники предали трупы земле, а память — Аллаху, потом снова вернулись к земным делам и день и ночь искали с кинжалами в руках по базару и Мешхеду шпиона Мурада-Мешеди, выдавшего своих земляков начальнику полиции. Но они не нашли Мешеди. Ночью он ушел из Мешхеда, он оставил любимый город и оглянулся на четыре стороны света. Юг — Бендерабас, Персидский залив — пугал его, там для него кончался свет: Запад — Тегеран — показался ему Парижем или Нью-Йорком, все же он был скромный провинциал, Мешеди. Он взглянул на восток и пошел в Герат, Афганистан. Бедный Мешеди шел восемнадцать дней; ему не составило большого труда перейти границу. Как ящерица он мелькнул в камнях мимо афганского разъезда и на девятнадцатый день вечером, когда муллы кричали с минаретов, вошел в Герат. Герат показался ему грязной старой деревней, но он уснул во дворе каравансарая, завернувшись в дырявое одеяло, как спят святые и праведники. Последние четыре тумана он прожил в десять дней. Он пил чай-и-зард, ел плов и лепешки. Вино можно было найти только у гератских евреев, но они боялись продавать вино мусульманину. За азартные игры наместник Мухамед-Сарвар рубил большой и указательный пальцы. Гератские базарные бездельники ничуть не походили на мешхедских; Мешеди чувствовал себя выше их на две головы, но он помнил стихи:

Сделай так, чтобы ближний не страдал от твоей мудрости...

Он выспрашивал новости и слухи, он искал «хабарчи» и запомнил то, что ему показалось важным, и спросил, где живут господа консулы. Для начала он пренебрег соотечественником, сафиром-ирани — персидским консулом. Он пошел к бывшему сафиру-англези — индусу, который при эмире Хабибуле представлял Соединенное королевство в Герате. Он увидел толстого седобородого индуса в сюртуке и подштанниках (штанов он не надел по причине жары). Мурад-Мешеди сказал индусу, что Мухамед-Сар-

тов и оттенков окружала наш островок, грязь цвета черни и кофейной гущи и нежно кремового цвета бледного кофа. Отважные странники выезжали в нашем экипаже в Герат. Лошади с норовом с трудом привыкали к экипажу, с отчаянием и яростью выворачивали колеса из жидкой грязи. В городе странник пересаживался на верхового коня, потому что переулки Чаар-баха никак не рассчитаны на движение экипажей. Странник останавливался на перекрестке у глухой стены, у вывески на персидском, английском и французском языках. Здесь была почтовая контора. Отсюда Герат соединялся с остальным миром. Всадник получал завернутый в серую оберточную бумагу, влажный конверт; на нем был штемпель Кушки, номер и штамп уполномоченного Отдела внешних сношений в Кушке. И всадник прятал драгоценный пакет у себя на груди, галопом скакал в консульство, и грязь, как взорванная миной, летела из-под копыт коня. Восемь человек ожидали его в нетерпении на южном балконе. В сыром пакете лежали газеты — «Правда» и «Правда Востока». В Москве этот номер читали месяц назад, ташкентская газета была, в среднем, двухнедельной давности. Мы читали и перечитывали эти газеты, пока они не превращались в клочки; мы спорили, негодовали, порочествовали, издали следя за историческим этапом нэпа. Непостижимым и странным казалось все, что происходило за северным хребтом, нам, оторванным от родины, от пятого года революции, и брошенным в Герат Мухамед-Сарвар-хана. Раз в шесть недель проезжали через Герат в Кабул дипломатические курьеры. Обыкновенно известие о выезде курьера приходило к нам после того, как он уезжал из Герата. Но ко дню его приезда нас мучили предчувствия; мы испытывали нетерпение и ярость и с отчаяньем, до рези в глазах смотрели в сторону «Елисейских полей». И вот к вечеру звон надтреснувших колокольцев переворачивали дом вверх дном. Курьеры поднимались наверх в грязи (или в пыли), с облупленными носами, обветренными губами, несколько ошалевшие от трех дней

пути. Мы разбирали почту, с одинаковым трепетом перечитывая и политические инструктирующие письма и какую-нибудь бумажонку из Москвы: «в ответ на ваш номер такой-то отдел снабжения сообщает, что вам препровождается копировальная бумага в количестве десяти листов, что же касается до лент, то в настоящее время... в виду... на вольном рынке... не представляется возможным. За такого-то такой-то». Потом мы бросались на книги и газеты, потом тормозили курьеров. Они говорили с нами чуть-чуть свысока. Еще бы: они знали все, у них на глазах рождались и разверстка и нэп. Мы обстреливали их вопросами: есть ли на самом деле живой частник, и что это за вольный рынок, и можно ли купить шапку без ордера? Два дня курьеры оставались в Герате, внизу свирепствовала повариха мамаша Поля, гроза афганских слуг (из уважения они ее называли «мамашка-саиб»). Курьеры с некоторым пренебрежением пробовали печенье мамаша Поли: они уже понимали толк в настоящих пирожных ташкентской «Чашки чая». «Неужели же пирожные?» И курьеры смотрели на нас с сочувствием: «Чудаки, впрочем да, вы же уехали до... то-есть до нэпа». Вечером назначали собрание ячейки. Повестка: текущий момент, споры, недоуменья. Текущий момент! Как это звучит для Герата, когда «Правда» приходит сюда через месяц, а срочные радиogramмы приходят почтой из Кушки и по милости афганской почты через десять дней. Мы провожали курьера в Кабул; звенели колокольцы выючных коней; они бесстрашно устремлялись в Кабул по Кандагарской дороге. Через пять недель их ждали с таким же трепетом и нетерпением в Кабуле, и там повторялось то же, что и в Герате. Но курьеры уже чувствовали себя почти на нашем положении: они оставили Москву два месяца назад, они сорок дней провели в Афганистане, в его быту и обстановке. Эти сорок дней отрывали человека от «текущего момента», и он уже не совсем твердо ступал по твердой земле и не вполне внятно рассуждал об обстановке по ту сторону Парапамизского хребта.

Курьеры уезжали; наш быт и будни шли убийственным чередом. Мухамед-Сарвар-хан не утруждал себя пространной дипломатической перепиской. Раз в два месяца он прислал запечатанное сердоликовым перстнем письмо: «Величественному и грациозному, его превосходительству генеральному консулу РСФСР. Да увеличится почет его. Если богу угодно, в субботу выезжают к его светлости послу Афганистана в Москве афганские курьеры Гулам-Наби и Али-Мухамед, имея с собой почту и два яхтана».

Однажды в месяц мы посылали письмо: «Его светлости, да увеличится почет его, Мухамед-Сарвар-хану, генерал-губернатору Герирудской провинции. Сообщаем вам на основании донесенья . . . что такого-то числа неизвестным в районе Тахта-базара угнаны на афганскую территорию восемьдесят голов скота. . . самые срочные и строгие меры, чтобы подобные случаи не повторялись, со своей стороны я . . . Желаем вам здоровья».

Сафир-ирани, персидский консул, меланхолический, томный и вежливый господин, изредка навещал нас и был приветливым и неглупым собеседником. Он был эпикуреец и сибарит, угощал у себя действительно небывалым пловом и рассказывал о прошлом. В молодости он состоял личным секретарем персидского посла, аккредитованного при Блистательной Порте. Сафир-ирани вспоминал селямлики Абдул-Гамида, глаз его подергивался слезой благоговения, рот округлялся буквой «о», «о! . . .» и бурные вздохи сотрясали его округлые плечи и живот. Об афганцах он говорил с уважением и еле просвечивающей иронией. Он произносил имя Ахмет-хана или командующего войсками, закатывал глаза и вдумчиво добавлял «хуб адам, хейли, хейли ху-уб адам» (очень, очень хороший человек), но затем его глаза принимали ироническое выражение, и он слегка вздыхал — и чего-чего только не было в этом вздохе! Он любил поговорить о России: «В свое время русские очень вредили Персии, как впрочем, и англичане. . . Правда, это было раньше, при царе. Но все же, как вы думаете. . . Можно ли сделать так, чтобы все люди были равны — и секретарь

сидел на скамье с поваром, и курьеры не вставали в присутствии консула, и офицеры здоровались за руку с солдатами... Можно ли отбирать землю и виноградники у помещика?» Здесь он подходил к явному вмешательству во внутренние дела чужой страны, и его превосходительство уюмал и возвращался к чашке кофе и рюмочке бенедиктина, «так, чтобы не видели афганцы».

Новый наместник не очень торопился в Герат; он ждал весны. Для него собирали караван, но первые вести о перемене уже носились в воздухе, уже убрали старого командующего войсками и сменили карнейлей — полковых командиров. Старик сразу постарел и съезился. Я приезжал к нему дважды и заставал его в комнатке, похожей на цветной фонарик. Саксаул трещал в очаге; было душно и дымно, и старик сидел босой на кошке, прикрывшись желтой бараньей шубой и не стеснялся облаивать новые порядки в Кабуле. Ахмет-хан дипломатически молчал, назирь, помещь камердинера с адъютантом, сидели на корточках и вздыхали и, вздыхая, раздували очаг. И вдруг в этот закат средневековья, сумерки старого Герата, вкатился из Мешхеда секретарь персидского посла, свободно, с парижским шиком болтавший по-французски, болтун и шаркун, воспитанник *Ecole des Droits*.

В этом случае скромная проза с полным основанием уступает классическим стихам:

..... едет он теперь
С запасом фраков и жилетов,
Шляп, всеров, плащей, корсетов,
Булавок, запонок, лорнетов,
Цветных платков, чулок à jour,
С последней песней Беранжера,
С мотивами Россини, Пера,
Et cetera, et cetera.

Песни Беранжера, мотивы Россини заменялись песенками парижского ревю, но во всяком случае это явление

в Герате и Кабуле не могло пройти незаметным, и тегеранский парижанин вскоре оказался преподавателем французского языка при дворе эмира.

Ветер других стран подул с запада. Из Аравии через Багдад, южную Персию и Хоросан пришло мятежное племя арабов — пятьдесят семейств, принужденных англичанами покинуть родину. Они разбили лагерь под стенами Герата. Лица, походка, жесты арабов отличали их от несколько суетливых и резких в движениях афганцев. Я увидел вождя племени на прогулке у ворот Герата. Он ехал на высоком, вороном, отливающим шелком, коне. Конь и всадник были одинаково снисходительны к окружающему. Шейх ехал в полосатом бурнусе; чалма спускалась, прикрывая от солнца его затылок и плечи. Шейх, настоящий шейх из сказок Шехеразады. Он поровнялся с нашим экипажем и увидел женщину, величественным и легким движением поднял он руку к переносице, и мы вдруг увидели на орлином носу с горбинкой хрустальные крылышки пенснэ. Солнечный блик играл на его узких и длинных лакированных башмаках.

Гератская зима была короткой, не похожей ни на зиму, ни на осень. Весна была стремительной; вообще не было весны: в два дня исчез снег на горах, и прозрачная зеленая дымка одела голые сучья деревень. Прозрачная дымка мгновенно превратилась в нежно-зеленое облако, первую зелень. Слуги убрали столы с южного балкона, мгновенно распахнули для сквозняка окна и двери, и мы поняли, что наступило лето. Одно время года дало другому не более недели. Шесть человек в поту и испарине собирались в подземной комнате доктора Дэрвиза и с проклятиями рылись в так называемой библиотеке, состоящей из сорока зачитанных, растерзанных по листкам книг. Вечером начинали симфонию шакалы, и под этот отвратительный аккомпанемент шесть человек, как в клетке, кружились по балкону, огибающему дом, и говорили о поэзии, прозе, политике, театре, Москве, Париже и Риме. В декабре 1921 года Ф. Ф. Раскольников писал мне из Кабула: «Знаете ли вы,

что застрелилась А... Городецкий, по газетам, умер в Персии. О Гумилеве вам известно. О Балтфлоте мы совершенно ничего не знаем. Если при вашей близости к России какие-нибудь вести достигают вас раньше, пожалуйста, сообщите».

Я сообщил все, что знал, и получил ответ на свое письмо, считаясь с афганскими темпами, довольно скоро, в конце мая 1922 года: «Относительно Сергея Городецкого и А. (известной поэтессы) вы оказались правы. Я был введен в заблуждение. Читали ли вы статьи Л. М. (Ларисы Михайловны) в четвертом номере «Красной Нови»? Л. М. готовится выпустить свои «Письма с фронта».

Я прочел афганские очерки Ларисы Михайловны уже в Москве.

В промежутке между этими двумя письмами произошли важные в гератской жизни события. Мухамед-Сарвархана наконец сменил министр полиции. Он приехал из Кабулы с тридцатью чиновниками и офицерами в новенькой защитной форме, в мундирах с розовыми и зелеными выпушками и петличками. От Исмета и Суриа-бея офицеры научились брэнчать шпорами, играть в теннис и устраивать офицерские скачки. Все это было хорошо для Кабула, но старый наместник оставил им печальное наследство: скучный, старый Герат. Новый наместник устроил нам полуевропейский, почти кабульский, прием и, в точности копируя эмира, играл сигаретой и перчатками, обворожительно и двусмысленно улыбался; эта улыбка не обещала ничего доброго для Герата. Презрительно-величавого Ахмет-хана сменил рыжеватый блондин в золотых очках, круглый невежда в нехитрых делах Гератской провинции. Он копировал кабульского министра Махмуда Тарзи точно так же, как Шоджау-Доуле копировал эмира Амманулу. Он тоже пробовал задавать каверзные вопросы: «Правда ли, что большевики хотят отдать Кушку афганцам?» Я увидел падение Ахмет-хана, красивого, величественного в национальном афганском платье, Ахмет-хана прежних лет; я вдруг увидел его в невообразимом полосатом френче и длинных

брюках, шитых отчаянно смелым гератским портным. Жалкое зрелище! Он сидел на задворках Чаар-Баха за четырехугольным хрупким столом, сидел на стуле, поджав под себя ногу, чтобы хоть чем-нибудь приблизиться к блаженным временем сиденья на полу. Однако он писал по-старому, держа бумагу на весу, и посмотрел на меня из-за бумаги печальными глазами, человеческими глазами... Второе лицо после Мухамед-Сарвар-хана — и такое унижение. Я вспомнил, как однажды ему отвозили подарок — посредственные золотые часы, благодарность за заботы о нашей миссии, когда она проезжала через Герат. Он взял часы двумя пальцами, открыл их и попробовал плотность золотой крышки; презрительная тень пробежала у него по лицу, и он с неотразимой иронией сказал переводчику: «От друга я даже такой подарок приму». Какие перемены...

Между тем реформы грозили перевернуть Герат. Началось с того, что вдоль базара на равном расстоянии друг от друга были расставлены фонари и на каждом фонаре написан его номер. Школьники, кланчившие у нас гроши и целый день околачивавшиеся на базаре, были наспех одеты в штаны и куртки из защитной материи. В день Уразы они маршировали по двору и тоненькими дискантами пели афганский гимн. Но в первую очередь реформы дали себя знать в налоговой системе. В этом случае афганские крестьяне оказались решительными консерваторами и приверженцами старого сердара. Они прогнали алчных сборщиков податей, и тогда реформаторы приступили к главной части реформы. Однажды мы ехали мимо старых укреплений, вынесенных за городские стены фортов. На невысоком валу, позади рва, всегда стояли четыре старые бронзовые, заряжающиеся с дула, пушки. Там обыкновенно вращался по кругу один часовой в полувоенной форме. Теперь перед укреплением стояла нетерпеливая, галдящая толпа. Нас пропустили из уважения к кучеру Юсуфу в его генерал-лейтенантском мундире. Мы встали на сиденье и увидели четыре бронзовых пушки и полукруг солдат позади пушек, и сначала никак не могли понять,

что происходит. Четыре человека привязаны к жерлам пушек, трое спиной, а четвертый лицом к фитилю. Солдаты-артиллеристы стояли позади в терпеливом ожидании. Трое привязанных к пушкам были безбородые молодые люди, один—почти юноша. Он плакал; у него подкосились ноги, и он почти висел на веревках. Четвертый стоял к нам боком, и седая борода касалась пушечного жерла. Кучер Юсуф подобрал вожжи, предупредительно выбирая удобное для нас место, но мы погнали его прочь от места казни.

Было около полудня; обыкновенно в полдень, в обеденный «адмиральский» час, стреляла пушка. В тот день мы услышали тройной выстрел и, с некоторым опозданием, четвертый. Переводчик догонял нас верхом; он видел, как на старом форте одновременно выстрелили три бронзовые пушки, вылетело желтое пламя и облако дыма всплыло над обрывками человеческих тел и дрогнувшей землей. Отец пережил казнь трех сыновей на одно мгновение; он был привязан лицом к жерлу и видел, как разгорался фитиль и как огонек полз к пороховому заряду, и умер с нечеловеческим спокойствием. Потонувший на «Петропавловске» Верещагин рисовал наугад казнь повстанцев-сипаев в Индии, кажется, в Лагоре. Мы могли бы увидеть ее в натуре, если бы захотели, потому что реформы не дешево давались Гератской провинции и в начале лета казни происходили с редкой для афганцев аккуратностью каждую среду.

Нестерпимо знойные дни сменялись душными ночами. Пришла Ураза, последний день Уразы, годовщина нашей жизни в Афганистане. Гератская жизнь продолжалась с ее немислимой монотонностью и однообразием; нас точно забыли; так могло пройти еще три месяца и полгода и год. Мысль об этом доводила до настоящего психоза. И вдруг, после года затишья, застоя, мертвого штиля мы пережили два фронтовых месяца, два месяца настоящей фронтовой жизни, с выездами в город, которые были похожи на вылазки, с караульной службой, бессонными ночами, бессменными дежурствами — одним словом, девятнадцатый

год неожиданно вернулся к нам и напомнил о себе в дикой гератской обстановке.

Год назад, летом в Кабуле или в Пагмане, в загородном доме Джемаль-паши я увидел на письменном столе фотографию, портрет, вставленный в позолоченную рамку с искусственным алмазом. Портрет изображал одно запоминающееся лицо, тысячу раз повторенное газетными клише, — лицо красивого офицера с подвитыми кверху усами. Человек был слишком красив, чтобы быть привлекательным; взгляд в упор и поворот головы показывали привычку позировать. Человек носил свой мундир и саблю, как символ взятой им власти. Мундир был неотделим от человека, и, правда, когда с него сняли мундир, он почувствовал себя голым, оскверненным, раздетым, лишенным права властвовать. При его себялюбии, тщеславии и энергии он мог пойти на все, чтобы вернуть себе мундир и власть. Человек в рамке из искусственных алмазов был Энвер-паша, генерал, генералиссимус, зять халифа, вождь младотурецкой Турции, теперь старой Турции. Он был за пределами новой Турции; он искал убежища в советской стране; он произносил пламенные речи об угнетенных народах Востока, театрально проклинал колониальных тиранов и весной 1922 года охотился за джейранами в окрестностях Бухары. Однажды он не вернулся в отведенный ему дом, и след его отыскался в Восточной Бухаре. Он поднял зеленое знамя газавата, священной войны против Советов, старое знамя панисламизма. Он провозгласил себя правителем, высоким сердаром единого мусульманского государства от Кашгара до Каспия. К нему стекались старые, стреляные волки, курбаши Ферганы и Таджикистана, басмаческие шайки пробирались к нему из Афганистана. Они успели разочароваться в старом эмире бухарском, отяжелевшем и одряхлевшем в афганском изгнании. Политика «единственного независимого мусульманского монарха» заключалась в том, что он более или менее энергично вступал за обескровленные и истребляемые Англией независимые племена, когда он протестовал против репрессий

в отношении индийского национального движения или против «хассадарской системы», круговой поруки пограничных племен, придуманной англичанами. Он довольно резко требовал у сэра Генри Добса прекращения репрессий, но это, впрочем, не помешало ему заключить договор с Англией и пустить британских консулов в Кандагар, Газни, Джелалабад. Отсюда англичанам было легче вести разведку в тылу у независимых племен. Теперь англо-афганская группа нашла подходящий момент, чтобы переменить фронт и стать в позицию защитников угнетенных мусульман Туркестана, Бухары и Хорезма. Но обстановка для тайной агитации, для диверсионных действий и для открытой интервенции в пределах советских республик сильно изменилась с 1921 года. Осенью 1921 года в Ташкенте перечитывали с волнением и тревогой донесения командиров и политработников, производивших обследование красноармейских частей в Фергане:

«... гарнизон Зеленый мост на жел.-дор. линии Андижан—Наманган — 5 рота. По списку 22 человека. Налицо 11 человек стрелков. Половина болеет малярией. В ряды ходят бессменно, в том числе каптенармус, письмоводитель, политрук. Рота совершенно оторвана от внешнего мира. О какой-либо широкой политработе говорить не приходится. Обувь у большинства красноармейцев совершенно нет. Шинелей также нет ни у одного. Ночи стоят весьма холодные. Красноармейцы производят своим видом весьма грустное впечатление. А таких гарнизонов, как этот, большинство».

Политсводка за июль 1921 год: «Дезертировало за месяц 13 человек. Наблюдался также переход к басмачам с оружием. Отношение населения в ряде местностей враждебно... В пехоте снабжение продовольствием и фуражем неудовлетворительное. С 1 мая по 1 августа в коннице, в гарнизоне, пало 200 лошадей». Все же... боеспособность красноармейцев и комсостава удовлетворительная». Это тоже относилось к войскам Ферганской области.

Курбаши Мухамед-Розы обращался к изнемогающим,

усталым, не имеющим отдыха бойцам с таким характерным воззванием: «Всем сочувствующим мусульманской партии, как русским, так и мусульманам, предлагаю присоединиться к нам возможно скорее. Будете получать хорошее жалование и кормиться с членами своей семьи. Мухамед-Розы. 7 мая 1921 года. Прикладываю свою печать».

«Начальника войск гази Мухамед-Розы—Объявление. Настоящим объявляю всем гражданам мусульманам, находящимся на службе у русских: вам нельзя оставаться в бездействии... Переходите на нашу сторону, так как немного осталось до того времени, когда нашему мусульманскому войску придет помощь из большого государства... Обращаюсь к вам: не слушая всяких обольщений, своей собственной охотой переходите на услужение своему народу — мы возвеличим вас. Я, Аскер-баши, гази Мухамед-Розы приложил печать».

Население относилось к бойцам так: в апреле 1921 года исполком села Гава отпустил 20 Туркестанскому стрелковому полку отравленное анашой мясо. Пострадало около половины полка. Одновременно произошло нападение басмачей. Его отбили здоровые бойцы. И наконец — настроение «Н» кав. полка: «третий год без отдыха; 65% состава больны, когда же мы выйдем из этих проклятых кишлаков».

Но в те дни, когда сторонники вмешательства и вооруженной помощи «из большого государства» Энверу толкали эмира на открытую войну с Советами, положение и в Ферганской области и вообще на афгано-советской границе изменилось. Командование и политическое руководство умело прямо смотреть в глаза опасности, и Реввоенсовет Туркфронта с полной откровенностью и ясностью писал в своем циркуляре: «Недоверчивое отношение к строительству советской власти и к красноармейским частям со стороны туземного населения создалось благодаря преступной колониальной политике царского правительства, привилегированному положению пришлое европейского населения, жестокой эксплуатации трудящегося туземного населения и

деятельности органов советской власти и ее представителей, порою ничем не отличавшейся от деятельности старого правительства.

«... всем работникам Красной армии нужно всегда твердо помнить азбучную истину гражданской войны и в особенности партизанской: без поддержки населения Красная армия ничего не может сделать».

С тех пор, как был поставлен вопрос о завоевании симпатии населения, с тех пор, как ряд экономических и политических мероприятий успокоили местного «мелкого производителя», басмаческое движение вырождалось в налеты разбойничьих шаек, и старое знамя панисламизма, поднятое Энвером, было по существу для басмачей новым знаменем. Политические и экономические корни басмаческого движения, разумеется, нуждаются в подробном описании, но не в этом цель этих записей, и автор приводит указанные выше сведения только для того, чтобы ввести читателя в обстановку, в которой развивались события. Был момент, когда афганцы нетерпеливо выжидали, как повернутся военные действия против Энвер-паши и удастся ли Энверу из Восточной Бухары и Самаркандской области пробиться в Фергану и разжечь догорающее пламя басмаческого движения.

Мы не были слепы и глухи, и впервые услышали о тайных гонцах Энгер-паши, посланных в Кабул, еще зимой 1921 года. В начале лета мы заметили явную концентрацию войск в Гератском пограничном районе. Это могло быть объяснено сменой Мухамед-Сарвар-хана и желанием кабульских властей отозвать старые гератские полки, заменить их новыми образцовыми частями из Кабула. В Чильдухтеране, в восемнадцати километрах от Кушки, действовал пограничный полковник Абду-Рахим-хан, худой, высохший от малярии, желтый человек с китайскими усами. Можно сказать, он и был до некоторой степени автором знаменитого джемшидского вопроса. Когда мы встречались с ним на дурбарах, когда пожимали сухую, костлявую руку пограничного полковника и вежливо осведомля-

лись о здоровьи, то мысленно желали друг другу внезапной и скорой смерти. Эта широкая, костлявая рука была по локоть в крови наших пограничников, железнодорожников, советских туркмен и джемшидов, и я полагаю, что это не только образное выражение. Абду-Рахим-хан был не только вдохновителем басмаческих налетов; такой человек не мог себе отказать в сильных ощущениях. Кроме того мы совершенно точно знали, что он имел свою долю в любой добыче басмачей. Но мы ели плов за одним столом; он показывал нам свои длинные, белые зубы и бескровные десны; мы тоже улыбались — тяжелый долг, тяжелая служба. Абду-Рахим-хан, единственный из всех гератских сановников, остался на своем месте в Чильдухтеране; перемены в Герате не коснулись старой пограничной рыси. Теперь он часто навещал Герат и нового наместника. Мы иногда встречались на Чаар-Бахе, он подносил овку к каске, показывал белые зубы и, опуская руку, гладил китайские усы. Он был свеж и в «форме», накануне больших дел.

В Кабуле афганцы заменили наших радиотелеграфистов своими, недавно обученными. По существу в этом не было ничего угрожающего; радио-станция была подарена афганцам, но полное устранение наших радистов порывало связи полпредства с Ташкентом и Москвой. Дипломатическая почта попадала в Кабул через полтора месяца. Ташкент и Кушка были принуждены прекратить всякую передачу в Кабул. Ровно через две недели мы почувствовали резкую перемену погоды в Герате. Афганская почта, действовавшая сравнительно аккуратно, вдруг перестала для нас существовать. Последним известием из Кушки было очень краткое сообщение о том, что на ближайшем железнодорожном полустанке вырезано девять человек, весь обслуживающий полустанок штат железнодорожников. Абду-Рахим-хан безвыездно жил в Чильдухтеране. Однажды утром из города прискакал наш переводчик, меланхолик и тишайший человек. Он был бледен и непохож на себя. Ему отк а з а л и в выдаче почты для консульства, почты из Кушки и Кабула, то-есть ему сказали, что писем для нас

нет, между тем он сам видел четыре толстых пакета с советским штампом; над ним явно издевались. В то же утро на наших глазах солдаты жестоко избили чахоточного поргного, которой пришел искать работу в консульстве. Из города вернулся доктор Дэрвиз; он тоже бился в припадке истерики: его, старожила Герата, провожали в город и из города два солдата, провожали как арестанта. Кроме того, его пациент, старый почтенный купец, старшина купцов, внезапно отказался от лечения. Это было невероятно, потому что только вчера брат старшины умолял доктора приехать к больному. Обо всем этом легко и даже смешно вспоминать теперь, но в те два месяца совершенно отрезанные от мира шестеро мужчин и две женщины переживали приблизительно то, что позже доблестно перенесли трагически погибшие в кантонском консульстве товарищи. Мне пришлось официально заявлять протест против изоляции консульства. Я поехал на Чаар-Бах с переводчиком, четыре афганских кавалериста ехали сбоку и сзади, скаля зубы и развлекаясь болтовней на наш счет. В Чаар-Бахе конюха и холоуи открыто плевали нам вслед. Но самое удивительное было то, что в те знаменательные дни воскрес Ахмет-хан: старому хищнику дали возможность показать зубы. Он сидел как ни в чем не бывало на старом месте у окошка с цветными стеклышками, умышленно небрежно одетый, и притворно дремал, посасывая чилим. Я постарался не доставить ему удовольствия и не выразил никакого удивления. В три месяца этот человек пережил величие и падение и снова вернулся к величию. Молодой человек в золотых очках на это время оказался ненужным, молодого человека убрали. Мулла Ахмет-хан смотрел в окно, в небо. Он не был расположен к серьезной беседе.

Я сказал: «Мы решительно протестуем против изоляции консульства». Он молчал. «Мы протестуем против поведения конвоя и вообще против конвоиров. Этого никогда не было в Герате».

Ахмет-хан ответил:

«Чужестранцы (не гости, не консульство, а чуже-

странцы) вызвали к себе злые чувства со стороны народа Герата. Вас надо охранять, потому что правоверные могут пролить кровь неверных». — «Спросите его, — сказал я переводчику, — как он думает, мог ли представитель отдела внешних сношений в Ташкенте говорить таким тоном с афганским вице-консулом?» Ахмет-хан удивился. Он думал минуты три и понял этот вопрос по-своему; он понял эти слова как угрозу. «Что же, — сказал он, — те правоверные, которые причинят смерть вам в Герате, попадут в рай, и другие правоверные, которых вы возьмете заложниками в Ташкенте, тоже попадут в рай». Затем его проорвало, он закричал: «Большевики хуже неверных! Вы атеисты, язычники, у вас нет писаного закона. Пророк сказал, что кафирам, у которых есть писанные законы, христианам и евреям, можно даровать жизнь, если они примут ислам, но кафиров, язычников, не имеющих писаного закона, надо убивать как собак!» Его красивое лицо исказилось, и на губах появилась пена. Это была настоящая изуверская истерика. Мы уехали, никто нас не провожал. Мы шли через двор и старались непринужденно разговаривать между собой, потому что из каждой щели и занавески на нас смотрели любопытные глаза.

В ту ночь мы установили дежурство у архива. Нашего переводчика, мусульманина, попробовал агитировать и разлагать начальник конвоя; переводчик меланхолически усмехнулся и ушел к нам, наверх. Ночь была скверная, длинная ночь. Мы ходили по балкону вокруг дома и глядели на север, на северную звезду над Кушкой. Визит к Ахмет-хану слегка подействовал. Об этом мы узнали впоследствии. Письмо, отправленное нами по афганской почте в Кушку, дошло до Ташкента. Когда часовые оказались на лестнице, у входа в дом, кто-то впервые заговорил об обороне. В нашем письме в Ташкент мы спрашивали у товарищей, как быть: защищаться ли, если будет нарушена экстерриториальность консульства? Защищаться как майор Кавеньяри в Кабуле? В то время для участников гражданской войны, начинающих ди-

пломатов, это был сложный вопрос. Мы получили ответ на этот вопрос через шесть недель, когда острота конфликта прошла. Один наш товарищ, умный, но несколько схоластически мыслящий человек, ответил довольно пространно и туманно, что-то вроде того: «огнестрельное оружие не есть оружие дипломатии». Письмо нас рассмешило, но шесть недель назад было не до смеха. В одну бессонную ночь на наших «Елисейских полях» появился отряд всадников с факелами. Они летели карьером прямо к консульству. Мы собрались наверху на балконе и молча глядели на приближающиеся огни. Похоже было на то, что приближалась развязка. Отряд осадил коней на скаку у ворот консульства, часовые открыли ворота, и вдруг всадники поехали вдоль стены, повернули за угол, за ограду и пропали. Шура, шестнадцатилетний комсомолец-шифровальщик, крикнул им вслед повеселевшим голосом: «На пушку берете? Не маленькие...» Ему ответил топот коней и смех.

Мы были абсолютно отрезаны от Кушки и Кабула, и мира в тот день, когда прибыли проводить лагерный сбор курсанты и младшие командиры, когда кушкинские батареи начали артиллерийское учение, учебную стрельбу. Но сороки принесли на хвосте хорошие вести. Рисальдар Худобаш-хан прибежал с расстроенным лицом к переводчику. Он спросил: правда ли, что в Кушку прибыли аэропланы и восемнадцать поездов? И что все это значит? Переводчик задумчиво ответил: «Не знаю. Если бы мы могли писать в Кушку и получить ответ — мы бы знали в точности, но...». В тот же вечер случилось невероятное событие: новый наместник Шоджау-Доуле, считавший себя гератским сувереном и никогда не ездивший в консульство, приехал к нам поздно вечером с двумя адъютантами. Он больше не играл перчатками, не улыбался, не копировал эмира; он довольно бесвязно повторял старый лейтмотив: «Дружба — Афганистан — Советы, но почему столько поездов пришло в Кушку?» Через два дня приехали наши курьеры. Две недели афганцы не давали им пропусков в Герат. Они уезжали из Кушки, когда по улицам ходили

курсанты и пели «За власть советов», а в горах громовым эхом отдавалась учебная стрельба кушкинских батарей. На границе курьеров встретил бледный и почтительный Абду-Рахим-хан. Он проводил их до Чильдухтерана, и они видели афганские полки, отходившие на юг: их оттягивали к Герату.

Ахмет-хан приехал в консульство. Он стлался по земле и мурлыкал как кошка. Наши радисты вернулись на Кабульскую радиостанцию. Кабульские интервенты притихли.

В бою 4 августа 1922 года на границе между Восточной и западной Бухарой в ущельях под Байсуном сложил голову Энвер-паша, генерал, генералиссимус, зять халифа, герой бульварных газет, утеха фото-репортеров, красавец Энвер. Эмир Афганистана не послал ему в помощь войска. Говорят, он послал ему парадный мундир высокого сердара, и Энвер надевал его, когда принимал басмаческие шайки: он выходил к головорезам и изуверам муллам в золотом мундире сердара; он позировал перед ним, как позировал на селямлик в мундире генералиссимуса и в Потсдаме у Вильгельма второго в мундире прусского улана. И он храбро умер за золотой парадный мундир сердара, потому что не мог жить без него и без власти. Его узнали по письмам его жены (он носил их на груди, ласковые и нежные письма на французском языке). Нить, крепкая как цепь, связывала Джемала, Талаата и Энвера с кровавым султаном, Абдул-Гамидом. Талаат погиб в Берлине, красавец Энвер — в ущелье Восточной Бухары. Он принял кровавое наследство старого колдуна, он принял по собственной воле завещанные ему шовинизмом, национальную рознь, империалистические бредни и старенькое знамя панисламизма.

В июле 1922 года мы простились с Гератом. С горы над нашим садом мы посмотрели в последний раз на минареты Тимура и плоские крыши, глиняные кубики домов — коробочки с сюрпризами. Мы ночевали в палатках у стены знакомого кишлака, где четырнадцать месяцев назад стояла палатка бирюзового мехмандара. На высоком колу торчала высушенная солнцем и ветром человеческая голова. Она глядела пустыми глазами в сторону Кушки.

ЖЕСТКИЙ ВАГОН И ВОЗВРАЩЕНИЕ

Штат советского генерального консульства в Герате перешел границу 19 июля 1922 года. Полковник Абду-Рахим-хан выехал к нам навстречу из Чильдухтерана; он поклонился до ушей коня и спросил, довольны ли мы путешествием, почестями, мехмандаром и поваром. Мы поблагодарили полковника. Он приложил руку к каске, поднял коня на дыбы и повернул его боком. Караван тронулся; мы оглянулись: полковник стоял на бугре у дороги, как конный монумент. И мы разъехались в разные стороны как дуэлянты, обменявшиеся выстрелами. «Большой почет, большой почет, — сказал мехмандар. — Его светлость приказал воздать вам почет. Кто прожил в Афганистане больше года, тот почти афганец».

Граница. Выбеленный известью домик без дверей и окон. На полотняных койках спят босые пограничники. Двое встали, не торопясь, отвязали коней и выехали к нам на дорогу. «Здравствуйте, товарищи», — сказал консул, задыхаясь от перебоев сердца. Он пересел в тахтараван и лежал весь желтый, в марле и бинтах. Кроме тропической малярии он был болен тропической кожной болезнью, затем пороком сердца и неврастенией. Это сделал в два года старый Герат. Пограничники ехали позади нашего каравана. «Никакой встречи, — сказал консул — никого. Мы же предупредили—и никакой встречи. Но ведь два года!»

Афганский конвой проводил нас до дверей одноэтажного домика. Там, на деревянной вывеске — выцветшие буквы: «Уполномоченный отдела внешних сношений в Кушкинском и Тахтабазарском районе». Восемь афганских кавалеристов, четверо слуг, мехмандар и каракешы остановились у дверей уполномоченного отдела внешних сношений. Здесь

прекратил существование штат генерального консульства РСФСР в Герате. В качестве обыкновенных смертных мы сидели в столовой товарища Юлина. Жена уполномоченного в Кушке наливала нам и мехмандару жиденького чаю. Товарищ Юлин сидел, заложив ногу на ногу, так, чтобы не было видно заплат на синих галифе. Это был Юлин, гроза афганцев, гроза дипкурьеров, отважный сторож дипломатических привилегий, неутомимый противник пограничного полковника Абду-Рахим-хана. О нем говорил, бледнея от злости, Ахмет-хан: «Афганистан, дружба, Советская Россия, но Юлин, Юлин!» Получалось так, что две великие страны готовы броситься в объятия друг другу, но между ними стоит Юлин в черной косоворотке и синих галифе. Мы смотрели на смиренного, скромного, чихающего в ладонь человека, и мехмандар, младший назир заместника, тоже смотрел на страшного Юлина. Назойливая артиллерийская батарея с точностью секундомера стреляла в Кушкинских горах. Мы слушали эту канонаду, как соловьиные трели, а младший назир заместника зло смотрел на Юлина, точно это по его приказу с пяти часов утра стреляли пушки Кушкинской крепости. Он отпил глоток чаю; чай ему не понравился; он встал и сказал: «Бааман-и-худа» (поручаю вас богу) и поклонился. Мы простились с афганским конвоем, и караван тронулся по широким улицам Кушки. На подоконниках казарм сидели курсанты и вслух судили афганских коней. Кушкинская батарея стреляла, как бешеная, афганские лошади горячились и поводили ушами, и наконец все исчезло за воротами крепости.

— Товарищ Юлин, — сказал консул, — все же надо послать телеграмму в Мерв, пусть пришлют вроде служебного вагона. Неудобно же ехать в четвертом классе с «водяной». Все же афганцы... Престиж...

— Послать можно, — сказал Юлин, — только знаете, теперь все на хозрасчете. Есть у них полумягкий вагончик микст, когда приезжал Джемаль-паша — прислали... Положим, то Джемаль-паша, а для своих — знаете, как

у нас... Я, видите ли, принимал Абду-Рахима. Чашки понадобились, чайный прибор. У коменданта в бывшем крепостном собрании имеется. Пишу записку — прошу, так мол и так, есть надобность в чашках по случаю приема афганполковника. А он отвечает на обороте моей записки: «Пулю — простите за выражение — ему в задницу надо, а не чашки». Народ!

Легкий угар шел из кухни, там жарила лепешки свояченица уполномоченного, страшного Юлина. Дым отечества.

Вечером пришли комендант и начальник особого пункта, курили английские сигареты из Герата и дружелюбно ругали Юлина: «Дипломатничаешь, а у меня на прошлой неделе конника ранили и лошадь убили. Давно из центра?» — «Полтора года», — сказал я. «Ну, не узнаете, полный Вавилон. Интересная история. Прибегает тут весной один джемшид из Герата и говорит: Афган весь «сафират-совет-Россия» порезал, а ханумов позабирал. И знаете ли, вполне возможно. Но вам надо соснуть с дороги. Утречком повидаемся». Мы спали на твердых сундуках, — на четырех афганских судунуках спал, как убитый, штат генерального консульства. Утром Мерв ответил на телеграмму: «Микст невозможно иначе как за плату. Возможно жесткий вагон общих оснований иначе теплушку».

Мы выбрали теплушку. Поезд «водянка» увозил нас от афганской границы. Откатили тяжелые двери; сухой накаленный воздух колыхался под крышей теплушки. Проплыл Михайловский хутор, хаты, тополя, дивчины, невероятный, как сон, пейзаж Украины, и потом опять бурые горы, спаленная до тла трава и две стальных полоски — закругленная линия рельс, уходящая на Мерв и на север.

На станции Таш-Кейри мы нашли себе попутчика до Ташкента. Это был немец литератор, фотограф, кино-оператор — странствующий писатель, занимающийся «большим репортажем», доктор Колин Росс. Двадцать лет он мерил земной шар по всем направлениям от Манильских островов до Сахалина и от Новой Зеландии до Гельго-ланда. Он писал о людях, животных и климатах, фотогра-

фировал, проявлял и печатал снимки, и в пути читал и отсылал корректуры. Через Каспий и Асхабад Колин Росс приехал в Кушку и держал путь в Кабул. Он проехал триста границ; его паспорт — летопись странствий — держали черные, желтые, оливковые и коричневые руки пограничников всех рас и наций. В Кушке он уперся в Паратамиз и пограничного афганского полковника. Колин-Росс, странствующий литератор, написал в Кабул и попросил визу. Он спросил у Юлина, когда ждать ответ из Кабула. Юлин ответил: «Через четыре месяца». И Колин Росс повернул в Ташкент. Мы сидели в его теплушке под кисейным пологом. Лысый босой человек в испарине смотрел на нас с откровенной завистью: шестнадцать месяцев в запретной стране. «Куда вы поедете из России?» — спросили его. Он ответил просто: «Пока в Тибет». Через три года в Берлине, на прилавке книжного магазина, я перелистал его книгу. Конечно, он описал встречу с нами на станции Таш-Кепри. В 1931 году я беру реванш.

В Мерве мы вдруг почувствовали себя отставшими на целую эпоху. Между нашей эпохой, военным коммунизмом, и эпохой нэпа лежало афганское средневековье. Железнодорожники открыто говорили о курсе рупии. Человек в поддевке и сапогах бутылками кричал во весь голос с площадки тронувшегося поезда: «Чохом за все шкурки сто! Николаевскими золотыми али советскими, нам все едино».

В Бухаре на запасном пути стоял санитарный поезд. На койках лежали в поту и жару красноармейцы, трое раненых и двести маляриков. Врачи и сестры, тоже в поту и в жару, шатаясь, ходили между койками. Они мерили температуру себе и больным. Это был малярийный поезд. Он привез тяжело-больных из Восточной Бухары. Там ловили Энвера. Красноармейцы бредили Энвером и басмачами. Умиравший от желтой лихорадки кричал звонким и чистым голосом: «Живым не дамся. Замучают!»

Шестнадцать месяцев назад на этом месте стоял другой поезд. Он назывался «Первый передвижной государственный показательный театр» и состоял он из семи спаль-

ных вагонов и одной теплушки. В двух вагонах жили актеры, актрисы, гримеры и бутафоры. В третьем — диктатор поезда, молодой человек с мушкой, по фамилии Тобби, и его фаворитка. В четырех вагонах была выломана вся внутренность; они назывались «репетиционный зал», «монтировочная мастерская» и «зал экзерсисов». Теплушку отдали под дары и лавры: там ехали рис, урюк, изюм, бараний жир. Актеры играли на станции один раз в неделю пьесу «Зеленый попугай». Тобби кричал страшным голосом на публику. Его секретарь грозил мандатом Совнаркома. В Самарканде транспортная Чека отняла и рассмотрела мандат: он оказался запиской Анатолия Васильевича Луначарского в НКПС с просьбой принять и выслушать подателя.

Ташкент. В бывшем общежитии шестнадцать месяцев назад ходил по коридорам боевой конь моего друга. Теперь там бегали горничные в наколках. В номерах пахло ремонтом. На стене под электрической кнопкой висело объявление о воспрещении после одиннадцати часов «громких разговоров, распития напитков, пения и игры на инструментах...» О, тень моего буйного друга Льва Михайловича!

В комиссионных магазинах без ордеров продавали текинские ковры и старые френчи, «сюзани» и лакированные довоенные ботинки. В парке, в «Чашке чая» уцелевшие полковые дамы туркестанских стрелковых полков разносили чай и пирожные. Мы были смущены, как дети. Мы переходили с опаской улицы. Движение арб и извозчиков приводило нас в ужас. Мы вернулись из пятнадцатого века. Сентиментальные юноши — мы вновь открыли музыку, живопись и книги. Мы гуляли по Ташкенту ночью. Здесь нет пушки на закате, никто не запирает на замок городские ворота и вообще нет ворот. По утрам бывший штат генерального консульства в Герате лежал в бреду, в малярии. Доктор из военного госпиталя вливал нам в вены хинин. Но вечером мы выползали на улицы и открывали для себя чудеса культуры — кино, трамвай, телеграф. Наконец мы открыли скорый поезд прямого сообщения и вагон прямого сообщения «Ташкент—Москва». Это было настоящее

открытые после тахтараванов, вьючных коней и даже после «водянки» Кушка — Мерв.

Аральское море, Джусалы. Здесь полтора года назад поезд афганской миссии стоял неделю, пока чинили размытое полотно. Кейсар-ханум, жена одного товарища по фронту (ее приютила в вагоне Лариса Михайловна), напудренная, набеленная, смотрела подведенными глазами из окна вагона. Киргиз проходил мимо поезда, взглянул и спросил: «Кто это?»—«Китайский генерал», ответили ему не задумавшись матросы. «Из Чугучака?», спросил киргиз и ушел.

Через двое суток мы пересекали Волгу, Волгу Азина, Кожанова, Раскольниковова и Ларисы Рейснер. Вдали за переплетом моста были Дубровка, Водяное, Балыклей, безвестные городишки и села, вписанные навеки в историю гражданской войны. Когда красные уходили из Водяного, деревенский поп бросился на колокольню. Он торопился встретить белых колокольным звоном. Азин услышал звон и вернулся и отхлестал попа плетью. Пока белые входили в Водяное, он успел поучить попа и вернуться к своим.

Балыклей, близ Дубровки. Белые ушли из Балыклея. В разгромленном доме, где жил генерал, нашли портрет Горького. У портрета были выжжены папиросой глаза. Об этом мне рассказал уже этим летом Борис Калинин.

Москва, 1926 год, зимняя ночь. В маленьком зале Дома Печати стоит красный открытый гроб. Красноармейцы стоят на часах в голове и в ногах Ларисы Михайловны Рейснер. Ночь, шаги разводящего и слабый треск паркета. Внизу, в вестибюле, глупый, старый, с золотыми лебедями вместо ручек, диван. И лживый старый портрет Шухаева, мнимый портрет Ларисы Рейснер. На диване — ее новые друзья и старые спутники по Волге, Каспию и Хезарийской дороге. Они говорят о прошлом, только о прошлом Ларисы Михайловны, о будущем говорить нельзя, будущего у нее нет. Вот что значит смерть. Я возвращаюсь к гробу и не верю в смерть. Это не Лариса Рейснер.

И я вижу девушку, косы, уложенные кольцом вокруг высокого чистого лба. Я слышу звенящий, как сталь, смех и

вижу коварную наивность, заставляющую пошляка раскрыться и откровенничать и получить внезапный, убийственный удар острием бритвы. Я слышу беседу, заставляющую собеседника быть все время настороже, как в разведке, чтобы не быть осмеянным, опустошенным и отброшенным в сторону, как пустая шелуха.

Петербургская сторона, Большая Зеленина...

«Северная Пальмира», София, Третий Рим. Эстетизм, мистика, самолюбование. Где противоядие против этой травы, где мужество, чтобы ее преодолеть?

Сатрап был силен и прекрасен телом,
Был голос у него как гул сраженья,
И все же девушкой не овладело
Томительное головокруженье...

Петроград, Москва, Волга... «Сволочи! Отдали Казань, бросили товарищей. Мало расстрелять! Сволочи!...»
Чей это голос? Какой это год? 1918-ый.

И опять: «Адмиралтейство, солнце, тишина». В Кронштадте на рейде яхта «Нева» комфлота Балтийского моря... «Товарищи красные балтийцы, британский флот вошел в балтийские воды. Товарищи...»

Хезарийская дорога. Стремя в стремя, вскачь, со свистом и песней по запретной стране. Окаменевший мулла, паломник из Мекки, обращенный в соляной столб на дороге.

И последний вечер в Кала-и-фату. «Мы не поссорились? До Москвы?» — «Да».

Зимнее московское утро, последний путь от Никитских ворот до кладбища Новодевичьего монастыря. Алый, ранний зимний закат. Колесо катафалка вертится перед глазами.

Колесо вертится, не заботясь о вычислениях ученых.

Колесо вертится и уносит Ларису Михайловну Рейснер. Мы идем следом.

Люди, знавшие ее близко, могут упрекнуть автора «Записей спутника» в том, что он канонизировал образ. Они не правы. Святых нет, святые — непривлекательные и скуч-

ные люди. Был человек; у него были слабости, некоторая доля сентиментальности, некоторая склонность к театральности, иногда склонность идеализировать маленьких, в общем мелких людей. Был писатель; он оставил книги; есть некоторая претенциозность, излишняя чувствительность и нарядность в первой книге. Но если забыть все слабости, все мелкое, незначительное, легко растворяющееся во времени — остается человек, боец, писатель и женщина будущего. Она войдет в историю нового мира прекрасным образцом человеческой породы, человеком, стоящим на грани старого и нового мира. Все слабости и ошибки у нее были от старого мира, но они испелены ее мужеством и верностью в борьбе за новый мир. Не будем неправедными судьями и простимся с ее образом на этих страницах так, как прощались с ее прахом на кладбище Новодевичьего монастыря. Ниже знамя — вечная память и любовь!

В Москве, в доме на Ленинской улице, мне иногда снится быстрый, как ветер, белый верблюд с серебряными колокольцами. Он мчится, как ветер, по Пешаверской дороге, как мчался однажды наяву. Он бежит, выбрасывая мягкие ступни, и догоняет любого коня; он уходит от автомобиля по Пешаверскому шоссе, но его все же настигает металлический зверь. Афганистан далеко позади! Десятилетие ушло. И пусть!

Мы встречаем четвертое десятилетие века революции.

В крови у нас была мистическая отравка и легкомыслие. Но мы нашли противоядие.

Мне хотелось закончить эту книгу без восклицательных знаков. Я вспоминаю лицемеров: они упрекали меня в двойственности. Я вспоминаю трусов: они упрекали меня в слабости. Я вспоминаю невежд: они поучали меня. Я вспоминаю сухого и осторожного чиновника: он назвал меня попутчиком. Я не принимаю этого ярлыка.

Будем жить, будем биться за новый мир. «Дело заключается в том, чтобы изменить мир». Это есть революция. Да здравствует революция!

Москва, июнь — сентябрь 1931.